НА ЛИНИИ ФРОНТА
ПРАВДА О ВОЙНЕ

Андрей Николаев

НА ВОЛХОВСКОМ И КАРЕЛЬСКОМ ФРОНТАХ

ДНЕВНИКИ ЛЕЙТЕНАНТА

1941—1944

На линии фронта. Правда о войне

Андрей Николаев

На Волховском и Карельском фронтах. Дневники лейтенанта. 1941–1944 гг.

«Центрполиграф»

УДК 94(47).084.8
ББК 63.3(2)622

Николаев А. В.

На Волховском и Карельском фронтах. Дневники лейтенанта. 1941–1944 гг. / А. В. Николаев — «Центрполиграф», — (На линии фронта. Правда о войне)

ISBN 978-5-227-10501-1

Автор этих увлекательных воспоминаний, написанных на основе кратких дневниковых записей и писем матери с фронта, — Андрей Владимирович Николаев (1922—2013) — выдающийся советский и российский художник-иллюстратор. За долгую творческую жизнь создал серии иллюстраций примерно к двумстам книгам из отечественной и зарубежной классики, современным авторам. Широкому кругу читателей известен как автор иллюстраций к «Войне и миру» Л.Н. Толстого, «Пиковой даме» А.С. Пушкина, «Белой гвардии» и «Мастеру и Маргарите» М.А. Булгакова.
А начинал А.В. Николаев свой жизненный путь, как многие парни его поколения: выпускной бал по окончании десятилетки, а утром 22 июня 1941 г. — объявление о начале войны. Минометное отделение Великоустюгского пехотного училища, служба в минометном полку на Волховском и Карельском фронтах, в конце войны — освобождение Венгрии и Австрии. Книга проиллюстрирована рисунками и схемами, выполненными автором. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 94(47).084.8
ББК 63.3(2)622

ISBN 978-5-227-10501-1

© Николаев А. В.
© Центрполиграф

Содержание

От автора 7
От Москвы до Устюга 10
Великоустюгское пехотное 17
Конец ознакомительного фрагмента. 38

Андрей Николаев
На Волховском и Карельском фронтах. Дневники лейтенанта. 1941–1944 гг

Серия «На линии фронта. Правда о войне» выпускается с 2006 года

Москва
ЦЕНТРПОЛИГРАФ

© Беретов А.И., 2023
© «Центрполиграф», 2023
© Художественное оформление серии, «Центрполиграф», 2023

От автора

Ты испытываешь нас, Боже, переплавляешь нас, как переплавляют серебро, испытывая в горниле страдания.
Пс., 65: 10; Ис., 48: 10

Обычно загородный дом, особенно же если он старый и простоял хотя бы лет тридцать или сорок, должен хранить в своих недрах немало интересного. В «тайниках», образовавшихся естественным путем под лестницами, на чердаке и антресолях, то есть там, где появляется минимум пространства и куда прячут никому уже не нужный хлам, можно обнаружить массу любопытных вещей.

Так в одном из «тайников» собственной дачи на станции Храпуново я и нашел сверток в плотной оберточной бумаге. По верху твердым почерком покойной моей матери было начертано: «Письма моего сына».

Да, это были те самые письма, которые я регулярно, в течение четырех с лишним лет, писал ей из армии. Пронумерованные, разобранные по годам, связанные в пачки, лежали они там, дожидаясь своего часа. Пыль, сырость и мыши делали свое дело; многие листы подмокли, отсырели, чернила расплылись, есть даже и такие, что крошатся под рукой. Нашел я пачку и нераспечатанных писем на мое имя с наклейкой: «В Москву – за истечением срока хранения и выбытием адресата». Целая пачка писем моей матери ко мне, в армию, на фронт – писем, не полученных мною и датированных сорок третьим и сорок четвертым годом.

Вскрываю конверт и читаю. То было время, когда нас перебрасывали с одного участка на другой, жили мы тогда то в городе, то в лесу, то в теплушках эшелона. Она не знала, где я, волновалась и волнения эти изливала в потоках эмоционально – бессмысленных фраз.

Разобраться в этом эпистолярном наследстве времен войны помогала мне одна наша знакомая девушка – соседка по даче.

– Отчего бы вам, – сказала она как-то, – не систематизировать все эти письма?!

– Зачем, для чего? – спросил я ее. – Кто станет их читать?

– Кто? – переспросила она. – Это же так интересно, необычно. Подумать только, молодой курсант, совсем еще юноша, а потом и лейтенант описывает изо дня в день события военной жизни, философствует, рассуждает о формировании своего характера.

Может быть, она и права, решил я и совсем уже по-иному стал пересматривать ветхие листы писем, разглаженные теплым утюгом, перечитывать их с особенным целенаправленным интересом.

Прежде всего я занялся письмами своей матери ко мне. Те письма, что я получал от нее, будучи в действующей армии, уничтожались в огне фронтовых печурок, в пламени догорающих костров. В вещевом мешке военного человека не хватало порой места даже для более важных и существенных вещей. И вот на тебе – сохранила-таки судьба несколько писем, хотя и не совсем обычным путем.

В письме от 12 мая 1944 года по адресу: «Полевая почта 67602-А» мать обращается ко мне со словами упрека: «Ты перестал со мною быть откровенным, то есть ты хочешь от меня все скрывать. Зачем ты это делаешь, мне так тяжело, да и тебе не легче. Ты сообщаешь, что „писать совершенно нечего “. А я хочу, чтобы ты делился со мною и радостями и горем, и поэтому прошу, даже молю тебя писать мне обо всем подробно и ничего от меня не скрывать».

Что, собственно, хотела тогда от меня моя мать? В чем состояла ее настойчивая просьба?!

Рассудком она, вероятно, понимала, что я не мог писать ей многого уже в силу того, что существовала военная цензура. Да и сам я достаточно хорошо знал свою мать и видел, что ждет она от меня совершенно не того, о чем просит и молит во всех своих письмах ко мне.

Так чего же ждала от меня моя мать?! Только одного: сообщения о том, что лично мне ничего не угрожает, никакая опасность. Любое известие от меня рассматривалось исключительно с этих позиций.

Однажды, поверив, будто ее действительно интересуют подробности моей фронтовой жизни, я намекнул ей, что по роду своей службы мне пришлось «побывать в тылу». Она знала о моей должности начальника разведки и могла бы догадаться, в «каком тылу» находился ее сын. Но она предпочла выслушать разъяснения своего брата и моего дяди, майора медицинской службы Николая Васильевича Румянцева, который, успокаивая ее, разъяснил ей, что коли уж я «нахожусь в тылу», то это совершенно не опасно, потому как «тыл» – это такое место, которое «отстоит от фронта на значительном расстоянии». Мать моя, естественно, уцепилась за этот обман, как за спасительную соломинку; настоящей, подлинной правды она боялась, более того, она даже не желала ее знать. Когда же я описывал ей поездки в наш собственный тыл и сообщал ей о том, что живу вне опасности, она не верила мне и думала, что я обманываю ее и намеренно «что-то» скрываю.

С течением времени, быть может даже неосознанно, стал я в своих письмах к ней подлаживаться под тот тон, который она мне сама навязывала и, помимо своей воли, стал потрафлять ее требованиям, доставляя ей удовольствие получать лишь те сведения, которые только одни и были ей нужны. Поэтому-то в письмах моих к ней так много второстепенного, казалось бы, даже несерьезного и ненужного. Однако теперь это второстепенное и несерьезное оборачивается вдруг тем самым «волшебным ключиком», который только один и способен отомкнуть заветную дверцу таинственного хранилища нашей памяти!

И вот, глядя на пожелтевшие, хрупкие листки почтовой бумаги, исписанные мелким и еще не окрепшим почерком, я решаю вдруг все это как-то систематизировать, привести в порядок и, наконец, придать всей этой «эпистолярной стихии» хотя бы какую-то литературную форму. Так летом 1979 года возник первый, черновой вариант «Дневника лейтенанта».

Помимо писем сохранилась у меня и небольшая записная книжица, с которой я не расставался все то время, что был на войне, и куда заносил нужные мне сведения: наименования населенных пунктов и городов, номера частей и подразделений, фамилии командиров и тех людей, с которыми приходилось иметь дела, характер и особенности проводимой боевой операции, и все это в соответствии с датами календаря.

Я знал, что делаю незаконное дело, и все-таки делал. Теперь же, сопоставляя данные моей фронтовой записной книжки с тем, что я писал в письмах своей матери, я уже мог спокойно и не принудительно восстанавливать в собственной памяти ретроспективу тех событий, непосредственным участником которых и являлся.

На дворе январь 1983 года – сорок лет минуло от того памятного дня, когда мы – новопроизведенные лейтенанты – в январе сорок третьего отправлялись из Каргополя на фронт.

Теперь я сижу в своей московской квартире и передо мною на письменном столе лежит черновой вариант моих «Воспоминаний». Пройдена первая стадия – позади основные трудности, и можно, очевидно, уже как-то критически и творчески переосмыслить написанное. Спросить самого себя: «А что, собственно, хотел я сказать, о чем хотел поведать, на что претендовал и на что надеялся?!»

– Много опубликовано у нас всякого рода воспоминаний, – сказал мне как-то Вячеслав Кондратьев, известный писатель и мой школьный товарищ, – еще больше рукописей лежит. Только вот люди помнят одно, а писать почему-то предпочитают совершенно иное.

Что же, как ни печально, как ни парадоксально, но люди привыкли жить во лжи. Ложь культивировалась сверху и с готовностью утверждалась снизу. И люди почему-то уверены, что «так жить легче».

Лично я не обещаю никакого открытия никому не ведомых истин, тем более «истин абсолютных». Не собираюсь я и поражать неведомого читателя фантастическими деталями эмо-

циональных впечатлений и душевных переживаний. Просто мне хотелось бы быть предельно искренним.

Замыслив писать о днях своей боевой молодости, я, естественно, как бы задним числом предполагал восстановить свой «Дневник лейтенанта» в ретроспективном измерении. Фактор времени и сорокалетний жизненный опыт, несомненно, должны «сказать свое веское слово». Но ведь я и не пытаюсь написанное теперь выдать за написанное тогда. Просто я рассчитываю лишь на основании сохранившихся писем и подлинных дневниковых записей вызвать в памяти сугубо личные, субъективные впечатления от событий тех далеких, трагических и в чем-то романтических военных времен.

От Москвы до Устюга

В ночь с 21 на 22 июня 1941 года в Москве на углу Сухаревки и Первой Мещанской, в помещении школы № 267, состоялся выпускной школьный бал. И мы – мальчишки – в 4 часа утра шли провожать по домам своих школьных подруг.

А в это самое время. Именно в 4 часа утра. Германские самолеты бомбили наши города: Киев, Минск, Севастополь, Новороссийск и другие. Армия вермахта перешла рубежи наших границ.

Началась ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА!

В середине июля, числа не помню, получил я повестку, в которой предписывалось мне явиться с вещами на сборный пункт по адресу: «Село Алексеевское. Станция Москва-Товарная. Имея при себе…»

Я держал повестку в руках, читал написанное. А внутренний голос так внятно, внятно приказывает мне:

– Беги срочно на Кировскую, 15! В райвоенкомат.

И я побежал!

Во дворе столпотворение: вой баб, вопли детей, пиликанье гармошки.

У дверей комиссариата часовой.

– Тебе чего?

А я и не знаю «чего»?!

– Мне это. К комиссару надо! – выдавливаю я из себя.

– К комиссару?! – удивляется часовой. – Попробуй!

И я прохожу в дверь. На лестнице, в коридоре толпы людей. Как говорят, яблоку упасть негде. Протискиваюсь. За столом полковник: четыре шпалы на малиновых петлицах. Судя по всему, не спит уже которую ночь.

– Тебе чего?! – спрашивает меня.

– Вот, – говорю, – повестку получил!

– Ну. И что?!

– Так. Мне идти?!

Очевидно, этот дурацкий вопрос что-то пробудил в сознании сидевшего за столом полковника.

– А… Ты-то. Кто такой есть?

А я не знаю, «кто я такой есть…»

– Вот, – говорю, – школу окончил, десятый класс.

– Так! – произнес полковник. Внутри этого человека вдруг что-то изменилось. – Дай-ка сюда повестку-то! – И куда-то в сторону: – Эй, там… Подполковник… Остаешься за меня… Не отставай!.. – Это уже было ко мне…

Проталкиваемся сквозь толпу… Во дворе стоит эмка… Садимся…

По Сретенке, по Первой Мещанской, по Ярославскому шоссе с сиреной, на красный свет светофоров, вплоть до Алексеевской-Товарной…

А там уже идет погрузка в эшелон… эмка встала… Полковник выскочил и побежал к тому, кто читал список… Я еле поспевал следом…

– Ты, старый дурак, кого набрал?! – слышу я. – Приказа Верховного не понял?!. Смотри!..

И… Тот, кто читал список, естественно «помянув чью-то мать», стукнул себя по лбу…

И вдруг истошно заорал:

– Окончившие десять классов средней школы, студенты вузов, научные сотрудники с высшим образованием пять шагов вперед. Марш!

Вот так я и получил отсрочку «до особого распоряжения». Согласно приказу следовало «направлять означенный контингент в военные училища».

Лето я работал токарем на заводе «Борец», а осенью был принят в число студентов второго курса Московского училища живописи на Сретенке, в мастерскую Антона Николаевича Чиркова.

Так Промыслом я избавлен был от трагедии сорок первого года, когда погибли многие из моих близких друзей. Да! Я не познал горечи отступления в сорок первом. И мера испытаний была определена мне Свыше по слабым моим мальчишеским силам.

20 мая 1942 года я получил наконец повестку с предписанием: явиться по указанному адресу.

25 мая. Вечер солнечный, но холодный. Провожали меня: мать Екатерина Васильевна, Ника Мейер, Гена Сотсков и Шура Шурыгин. С Никой и Шурой я учился в школе, а Генка был, как и я, студентом училища живописи на Сретенке.

На мне демисезонное пальто, черный берет, а за спиной – пионерский рюкзак, в котором двухдневный запас полученных по карточкам продуктов: хлеб, сухари, полукопченая колбаса, чай и сахар. Кроме того, блокнот для рисования, девять школьных тетрадей, кисти и в металлической коробочке из-под ландрина акварельные краски.

2-я часть Ростокинского райвоенкомата, откуда я получил призывную повестку, размещалась в дощатом павильоне клуба имени Калинина. Откровенно говоря, я уже был готов к тому, чтобы встретить картину, обычную для того времени на любом из призывных пунктов. Но Ростокинский парк, через который нам пришлось идти, встретил нас тихим прудом, брошенными лодками, заросшими травой дорожками. В глубине парка летний павильон клуба, выкрашенный в ядовито-голубой цвет.

Начальник 2-й части капитан Суранов принял меня вежливо и даже приветливо. Спокойная, деловая обстановка благоприятно отразилась на настроении. Не скажу, что я радовался призыву – война оставалась войной. И все-таки в душе моей в тот момент не было ощущения роковой обреченности или предчувствия неминуемой гибели – чувств, тогда свойственных многим из мобилизованных на войну.

Всех призывников оказалось лишь семь человек, и капитан Суранов сообщил нам о направлении всех нас в военное училище.

В сопровождении делопроизводителя Архангельского, везшего наши документы, отправляемся на сборный пункт и по пути знакомимся. Припоминается педагог средней школы, хорошо знавший многих из моих учителей, какой-то здоровый парень в синем плаще и кепке, тщедушный мальчик-еврей, к которому сразу же прилипло имя – Абрам Маленький. Но сблизился я с невысоким, юрким, лет тридцати с небольшим «работником прилавка», как он сам отрекомендовался. Звали его Николай Морозов. Тогда, естественно, я и предположить не мог, что суждено мне будет с Николаем не только спать рядом на казарменных нарах, но и повстречаться в госпитале и даже после войны, в сорок седьмом году.

От Ростокино до Грохольского все мы – и призывники, и провожающие – ехали на трамвае. В последний раз видел я свой дом в Протопоповском переулке – тот самый дом, в котором родился и вырос. Через год этого дома уже не стало.

На Спасской, перед воротами школы, у которых дежурил часовой, я простился с матерью и друзьями. Было поздно, погода портилась, наступали весенние сумерки. Из окон школы я видел своих: они стояли на противоположной стороне улицы. Наконец они ушли. Приближался комендантский час, после которого запрещалось ходить по Москве, не имея специального пропуска. Их уход принес внутреннее облегчение. Я уже был изъят из той жизни, которая осталась там – вне казармы, и нужно было сжигать за собой эмоциональные мосты как можно скорее.

После полуночи нас повели в баню. Это были наши «Астраханские бани», куда я ходил с отцом, будучи еще мальчишкой. Дул сильный ветер, и по небу ползли низкие черные тучи. В бане нас остригли под машинку.

И во втором часу ночи, строем по четыре, под проливным дождем, который постепенно превращался в грозу, шагали мы по булыжникам Астраханского переулка. Через Каланчевскую вышли на Новорязанскую к зданию школы, напротив вокзала, в которой размещался тогда эвакопункт запасного стрелкового полка.

В школьных классах нары, сколоченные из толстых досок, и на нарах люди, уже повидавшие войну. На нас они смотрят отчужденно – их, наверное, можно понять. Мы всего лишь несколько часов как из дома, а у многих из тех, что лежат тут на нарах, семьи остались на территории, занятой врагом, погибли при бомбежках, затерялись в эвакуации.

В коридоре спали прямо на полу, вповалку, подостлав шинели и положив под голову вещевые мешки. Воздух насыщен смрадом от пота, грязи, махорочного дыма и дыхания. Нам ничего не оставалось, как только примоститься на входной каменной лестнице. Пока еще мы ощущали себя лишь инородным вкраплением в этом общем людском монолите войны. В небольшой кастрюльке с одной ручкой, в каких обычно варят детям манную кашу, Морозов принес кипятку. Заварив чаю, мы закусили с ним на пару нашим хлебом и колбасой.

– Учти, Андрюха, – доверительно шептал мне Николай Морозов, указывая на кастрюльку, – у солдата под рукой завсегда должно быть это вот самое оружие. Иначе хана – пропадешь! Я-то не впервой иду по призыву. Кое-что понимаю! Ты верь мне.

Поужинав таким образом, мы задремали прямо на лестнице, прислонившись к стене. Наша первая ночь в казарме была на исходе.

26 мая. В четвертом часу нас растолкали и велели выходить на построение. Густой белый туман скрывал окружавшие здания. Перекличка, и строем на Садовую, в район старых, знакомых с детства, Спасских казарм. Здесь по аттестату нам выдали довольствие на трое суток: кило восемьсот хлеба, двести грамм польской колбасы, сто пятьдесят грамм сахарного песку, пачку чая на десять человек и концентраты горохового пюре.

Теперь нас уже до полуроты: большинство – молодые ребята со средним и высшим образованием, школьники выпуска сорок первого года, студенты вузов и техникумов, отозванные с фронтов или выписанные из госпиталей. Многие из них почему-то несколько дней жили без продуктов, были голодны, злы, грязны, небриты и с откровенной неприязнью смотрели на наши рюкзаки, полные домашнего харча. Запомнился мне молодой, крепкий и красивый парень с огромными угольными глазами, в синих грязных обмотках и в новой шинели внакидку. Он с жадностью глотал куски сухого горохового пюре – тогда мне была непонятна эта жадность, жадность здоровой плоти, требующей пищи.

Отправляли нас с Северного, или Ярославского, вокзала. Ехать предстояло до Вологды. К пассажирскому составу прицеплен был товарный «пульман» с нарами из толстых досок. Сопровождавший нас командир не проявлял излишней строгости, и мы свободно разгуливали по платформе. Я даже ухитрился позвонить домой. Погода постепенно разгуливалась, и день обещал быть теплым и солнечным. Тронулись мы в девять тридцать по московскому времени. Фронтовики уселись в проемах дверей вагона, спустив ноги вниз. Я стоял тут же, опершись о заградительный брус, смотрел на бегущие мимо окраины Москвы, на те самые места, где я когда-то мальчишкой гулял с моей бабушкой Олей.

В одиннадцать часов, в Загорске, бегали на станцию за кипятком. Призванные с гражданки стали разворачивать свои «котули», доставать съестное и пить чай. Фронтовики, гордо отвернувшись, сплевывали слюну и тихо матерились. У многих, выписанных из госпиталей, не было ни кружек, ни ложек, ни котелков, не было даже вещевых мешков. Но вот кто-то кому-то наконец догадался что-то предложить из домашнего – то ли кружку кипятку, растворить бри-

кет концентрата, то ли кусок пирога, испеченного матерью, и непреодолимая, казалось, стена отчуждения рухнула, сломалась.

Контакт, возникший хоть и не сразу, постепенно углублялся, и вскоре уже все пространство нашего «пульмана» наполнил гудящий многоголосый гомон. Слышались вопросы о том, как теперь в гражданке и что там в Москве? Бывают ли тревоги? И люди вдруг стали открываться в чем-то сокровенном совершенно незнакомому человеку. С напряженным вниманием вслушивался я в рассказы фронтовиков и не знал: верить мне или не верить?! Уж больно необычными и маловероятными казались мне все эти рассказы. Какой-то вихрастый парень в линялой гимнастерке возбужденно говорил об окружении какой-то 163-й дивизии и о полковнике, которого почему-то разжаловали. Но вдруг замолчал, как будто осекся. Потом ухо уловило странную фамилию генерала Карпизо, и тут же кто-то возбужденно стал рассказывать о бомбежках эшелонов, о первых встречах с танками противника, о выходе из окружения, о том, как болтались по госпиталям и с какими бабами крутили любовь. Трудно было все это сразу переварить. Война словно оголила все вокруг – содрала со всех ветхие лохмотья лжи и обмана. И до меня начало доходить, что люди, хлебнувшие жестокой реальности войны, отбрасывают от себя прочь всякого рода худосочные иллюзии, которыми обычно человек старается отгородиться от окружающих его людей.

«Как странно, – думал я, – их рассказы будто снаряды врезаются в сознание, взрывая в нем „хрустальные замки“ нашего безмятежного детства». От этих мыслей кружилась голова и казалось уже, что не ветер обдувал тебя в проеме двери, а новая и неведомая жизнь обдавала изнутри ураганом нахлынувших впечатлений.

«Настроение прекрасное», – писал я домой, сидя на нарах вздрагивающего на стыках вагона, в своей первой открытке, опущенной в Ярославле…

Густели весенние сумерки, и постепенно утихали разговоры. Утомленный впечатлениями, я погрузился в сон под мерный перестук колес.

27 мая. После холодной ночи, проведенной на вагонных нарах, ранним, сырым и туманным утром прибыли мы в Вологду. Перейдя извивы железнодорожных путей, вышли мы на привокзальную площадь и нестройной толпой направились к пристани.

– Пароход до Великого Устюга отваливает в девять вечера, – оповестил сопровождавший нас капитан. – Сбор в двадцать ноль-ноль. Не опаздывать, водкой не увлекаться, в комендатуру не попадать. До вечера.

Капитан ушел, и мы остались, предоставленные самим себе. Московская семерка наша распалась – я же пока держался около Николая Морозова, человека, несомненно, лучше меня ориентированного в этой, не вполне ясной, обстановке. Не торопясь, подождав, когда все разойдутся, Морозов стал внимательно изучать расписание рейсов, табличку с ценами на билеты, кого-то о чем-то спрашивал и, наконец, заявил:

– Попадать в комендатуру, Андрюха, нам нет никакого резону – оттуда прямой путь в маршевую роту и на фронт. Это не по моей части. Но и ехать двое суток на открытой палубе не солидно.

– А что делать? – наивно спросил я его.

– Пошли! – бросил он снисходительно.

«Вологда грязный, провинциальный городишко, – записал я себе на память, – очень скупо с табаком. За два спичечных коробка отдают 700 гр. хлеба. Вовсю идет натуральный товарообмен. Водки залейся (!) по 27 р. литр и без всякой очереди».

Государственная цена водки тогда была 12 рублей 60 копеек за литр. Наши брали по пять, по восемь литров. Брали столько, сколько позволяли деньги. И на палубе, после того как легли на курс, пили и гуляли до тех пор, пока все не опорожнили и не выбросили за борт последнюю пустую бутылку.

День наконец разгулялся, рассеялся туман, и солнце высветило на фоне бурных и рваных облаков поржавевшие уже купола кафедрального собора.

Господи! До чего же славным был этот день – первый день моего самостоятельного бытия, моей свободной и вольной жизни! Призванный в армию в военное время, я, казалось бы, должен был чувствовать нравственную угнетенность, страх за свою судьбу, страх вполне оправданный. Но душа моя ликовала радостью освобождения и избавления от материнской опеки. Вероятно, я смахивал на Петрушу Гринева из «Капитанской дочки».

Завтракали мы с Николаем Морозовым в какой-то грязной прибазарной чайной. Ели рыбный суп без карточек – вещь по тем временам необычная, если вспомнить о том, какой вегетарианской бурдой кормили нас в коммерческих столовых голодавшей Москвы. Таинственно подмигнув, Николай достал поллитровку «Московской».

За нашим столом сидели еще двое из тех, что ехали с нами в Великий Устюг. Один из них – высокий, жилистый старшина с четырьмя угольниками рубиновой эмали на малиновых петлицах. Другой, как выяснилось, старший техник-интендант из «Военторга» в добротном обмундировании.

Они выставили свою бутылку, и мы выпили за знакомство. Мне тогда исполнилось всего лишь девятнадцать лет, и водку я пил впервые. Хмель искорками тепла щекотал желудок, приятно подползал к сердцу, волновал мозг жгучей истомой – все вокруг плавно колыхалось и плавало. Николай, старшина и интендант из «Военторга» о чем-то шушукались. А мне было очень смешно, и я мысленно прикидывал, насколько могла бы еще вытянуться шея у жилистого старшины. Хмель путал мысли, пьяно убаюкивал, но я все-таки соображал, что речь между ними шла относительно того, как заполучить места в каюте на нашем пароходе.

Около восьми часов вечера жилистый старшина принес билеты первого класса, и Николай стребовал с меня пятьдесят рублей.

Почему-то я не запомнил название парохода, не записал его в дневнике, не сообщил домой в письме; но врезался мне в память год изготовления машины, выбитый на бронзовой, полированной дощечке – «1896».

От всего тут веяло бывшим когда-то порядком и комфортом. Каюта – салон первого класса – размещалась на носу. В ней было удобно, тепло и покойно. Вдоль стен – мягкие кожаные диваны, сквозь широкие окна зеркального стекла открывался просторный вид могучей реки. В каюте, помимо нас, еще двое подполковников и капитан милиции.

Местный радиоцентр транслировал столичный концерт. Передавали арии и дуэты из классических опер. Нежные, чарующие звуки лились к нам в каюту, и я не без гордости сообщил своим попутчикам, что солистка Театра имени Станиславского Татьяна Юдина – моя двоюродная сестра. Разговоры смолкли, а высокий, звонкий и сильный голос Тани словно плыл над ровной гладью вод, уносясь куда-то в неведомую даль. И мне уже казалось, что это родные мои и близкие посылают мне свой привет из далекой и такой близкой-близкой мне Москвы…

А на палубе тем временем делили сухари, копченую грудинку, краковскую колбасу, сахар, брикеты горохового пюре. Среди попутчиков шел бойкий товарообмен. У меня тоже образовались излишки: буханка черного, половинка белого, сухари, сахар. Я присматривался и соображал о выгодной их реализации.

Особняком в общей массе держалась группа курсантов-летчиков в ладных довоенных шинелях с цветными форменными петлицами. Их почему-то отчислили из летного училища в пехотное. На все вопросы они только презрительно цедили сквозь зубы: «Подождите! Вам тоже дадут, вам покажут!» А что «дадут», что «покажут»?! Мы не ведали…

С третьим звонком пароход отвалил от дебаркадера. Монотонно зашлепали по воде лопасти колес старого речного ветерана, слышалось лишь ритмичное уханье рычагов, и судно вздрагивало всем своим корпусом. Вечер был тихий, а вода спокойная; закат окрасил небо в холодно-малиновые тона. Впереди мерцали огоньки бакенов, указывая фарватер. Палубные

пассажиры готовились к ночлегу: более опытные и расторопные захватывали места у трубы, вблизи машинного отделения, рассчитывая согреться их теплом.

28 мая. Утро пасмурное. Беспросветная серая мгла нависла над мутно-сизыми водами Сухоны. «Чувствуется заметное похолодание, – отметил я в своем дневнике, – как хорошо, что на мне пальто и свитер».

Впервые открылись мне здесь красоты северного края. На всю жизнь врезались они в мою душу своей свинцовотяжелой и холодной прелестью. Неласковой, подчас зловещей бывала мутноватая, словно остекленелая гладь широкой реки. Высокие ели и сосны громоздились по отвесным берегам, глыбы гранитных валунов покоились у воды, а на гребнях гор изредка мелькали деревни. Неповторимые северные деревни – с домами на высоком рубленом подклете, с дворами, крытыми замшелым тесом, и с серыми от постоянных ветров станами. Поэзией былин и древних легенд, колоритом Аполлинария Васнецова вонзились они в мою душу и остались там навсегда.

Проехали Шуйское, Тотьму. В легкой дымке тумана маячили, словно сказочные, кружевные силуэты деревянных церквей и часовен. Дух захватывало от переполнявших тебя впечатлений. Я тогда плохо разбирался в особенностях стилей древнерусского деревянного зодчества, воспринимал виденное не рассудком стороннего наблюдателя, не знанием искусствоведа, которое классифицирует школы и направления, но интуитивно – сердцем – как художник.

На пристанях в Коченге и Брусинце садилось много местных жителей – крестьян бывшей северной губернии. Мало в чем изменились они за годы советской власти. Бородатые мужики, стриженные в скобку, в яловых смазных крюках – вытяжных сапогах с одним только задним швом, ехали по призывным повесткам на сборные пункты. Их провожали такие же сумрачные бабы с обветренными лицами и корявыми натруженными руками. Особенно запомнился мне старик – сильный, рослый, с угрюмым и недружелюбным взглядом из-под нависших густых бровей. Этому старику, думал я, несомненно, известно, что такое война. Кого он теперь отправляет: сына или внука, а может быть, кого-либо из родственников?

С нами – городскими – эти местные ни в какой контакт не вступали. И вели себя так, будто на пароходе, кроме них, никого и не было в помине.

29 мая. В пути мы уже вторые сутки. Все вокруг впечатляет, кажется необычным, все внове. Только главное чудо этого сурового края у нас впереди, и чудо это – цель нашего путешествия Великий Устюг – белокаменный, златоверхий, старо-купеческий, возникший в стародавние времена у слияния трех могучих северных рек: Вычегды, Сухоны и Юга.

Надвигался вечер – хмурый, ветреный и холодный. Низкие брюхатые тучи повисли над горизонтом. Сквозь бирюзовые прорывы лучи негреющего неласкового солнца высвечивали по берегам рваные пятна пейзажа. А там, впереди, на фоне мрачной громады фиолетовых туч, горело золотом великое множество куполов. В те годы храмы Великого Устюга хранили еще на куполах следы позолоты, и сияние их издали завораживало душу, наполняло ее щемящей и трепетной радостью. Вначале я любовался этим зрелищем из окна каюты, но потом вышел на палубу и стоял на носу парохода, подставляя ветру разгоряченное лицо.

Над городом господствовал сказочно-фантастический узор из церквей – их было столько, сколько мне никогда не приходилось видеть. Впечатление такое, будто на каждые пять – десять домов приходилось по одному храму. В промежутках между белыми квадратами зданий, среди пышной зелени берез, вертикальными стрелами маячили черные ели. Устало чавкая колесами по воде, пароход наш медленно швартовался к дебаркадеру и наконец замер на прочных пеньковых канатах.

На небольшой площади, мощенной булыжником и поросшей травою, нас ожидали представители двух военных училищ: вновь сформированного Великоустюгского и Пуховического, эвакуированного из Белоруссии.

Общее построение и перекличка. Каждый из представителей оповещает список тех, кто из прибывших направляется в какое училище. Я и Морозов определены в Великоустюгское, а наши попутчики по каюте – в Пуховическое. Больше мы с ними не виделись.

Артиллерийско-минометный дивизион, который в пехотном училище именовался по-пехотному батальоном, размещался в старинном доме знаменитого землепроходца и купца Шилова на улице его имени. То была тихая улочка, заросшая травой, с деревянными тротуарами вдоль высоких дощатых заборов со скрипучими калитками, вдоль домов, рубленных из мерного леса с резными наличниками окон. Перед зданием казармы – пустырь, перерезанный наискось ложбиной, на дне которой журчал полноводный ручей. Через ложбину перекинут бревенчатый мост, а за мостом – базар с деревянными прилавками и навесами от дождя. От базара, параллельно набережной Сухоны, протянулась центральная улица Успенская, переименованная в Советскую. Булыжная мостовая, тротуары из каменных плит, тумбы. Дома кирпичные, приземистые, купеческие, толстостенные, беленные известью, такие, какие умели строить лишь в старину. За базаром, у церкви Вознесения, – новое здание городской бани. Стемнело, в городе зажигали огни. Мы же, москвичи, уже отвыкли от уличного освещения – в столице тогда соблюдалась тщательная светомаскировка.

Великоустюгское пехотное

30 мая. Ночь нам разрешили переспать в казарме на голых нарах, а утром выгнали всех во двор и объявили, что мы «в карантине». Николай Морозов успел где-то узнать, что карантин продлится не более суток. Наша партия оказалась последней из общего набора курса; прочие ожидали ее прибытия и находились в карантине уже более полутора месяцев.

Вероятно, никто из нас тогда и не предполагал, какими событиями ознаменуется этот теплый, солнечный день – событиями, оставившими памятный след в жизни этого тихого, мирного и древнего города.

Изгнанные из казармы, которые тотчас стали протирать каким-то вонючим раствором, слонялись люди по двору, словно неприкаянные. Мне выпал жребий сидеть на ворохе вещевых мешков и шмоток нашего взвода в качестве сторожа. Времени достаточно, и я мог посмотреть по сторонам.

Здание казармы – трехэтажное, кирпичное, старинной кладки, оштукатуренное и свежевыбеленное, в плане Г-об-разной формы. Внутрь ведет парадное крыльцо с широкой лестницей искусственного мрамора. Обширный двор местами вытоптан, местами зарос травою. Не видно тут ни правильных линеек, ни клумб в виде пятиконечных звезд, аккуратно обложенных кирпичами, как положено на территории любой воинской части. Наш двор так и оставался диким и неухоженным все то время, пока мы жили в Великом Устюге. Не до того, видать, было, чтобы заниматься разделыванием фигурных клумб и парадных линеек. Посредине двора колодезь – обычный деревенский колодезь с деревянным воротом и железной цепью. У колодца часовой, как и положено: с винтовкой и противогазной сумкой. Спросить бы у кого: «Зачем часовой у такого колодца?» Но спросить не у кого, сам часовой молчал и смотрел на нас с выражением усталости и явной скуки. У дощатого забора, в котором, как и во всяком заборе, есть оторванные доски и щели, собралась толпа. С противоположной стороны забора видны любопытствующие горожане. Начинается товарообмен: к горожанам потекли носильные вещи, а от них к нам – бутылки с водкой и самогоном. На траве, на лавочках можно было уже видеть расположившиеся группы с выпивкой и закуской. Из начальства не видно было никого.

В какой-то момент появился парикмахер и началась поголовная стрижка тех, кто еще имел хотя бы минимальные признаки шевелюры. Очередного клиента сажали на опрокинутый ящик и оболванивали под два ноля. Остриженный с глупым видом гладил колючий затылок и выслушивал в свой адрес поток нелестных замечаний, сопровождаемых общим хохотом. Обижаться не положено – обидевшийся получал удвоенную, утроенную дозу насмешки.

– Белье, брюки, трусы, майки, – крикнул кто-то, – сдать в дезинфекцию! Обувь оставить при себе.

Общее недоумение: для чего нужно еще дезинфицировать всю эту рвань?! Но давать какие-либо разъяснения было некому. Фронтовики пожимали плечами: с подобным они сталкивались впервые. Обычно, как это было заведено по воинским частям, призывников ведут в баню кто в чем приехал, моют, а по выходе из мыльной выдают все новое: белье, обмундирование, портянки, сапоги. Кто же мог предполагать, что во вновь сформированное училище завезли лишь пилотки и гимнастерки. Не было ни брюк, ни белья, ни сапог, и мы еще долго ходили в том, кто в чем прибыл. Слышны разговоры о вредительстве, о том, что неорганизованность создается искусственно.

– Неорганизованности везде хватает, – возражает кто-то, – но и то надо в толк взять: сколько складов с обмундированием попало к немцам в сорок первом, сколько его уже истрепали и сколько его еще потребуется.

Время двигалось к обеду, а по двору казармы разгуливали люди, как говорят, «в чем мать родила». Как накормить, как вести в столовую людей в этаком виде, где обслуживающий персонал женщины? Женщин удалили и всех кое-как накормили.

После обеда пришло новое распоряжение: начисто выбрить все те места, где у людей растут волосы. Принесли бак с кипятком, направили бритвы и, сидя на скамейках, а то и прямо на земле, занялись полезным делом. Смех и остроты взрывались то тут, то там. Все это казалось столь необычным, что никто даже и не заметил, как над городом собрались мрачные тучи, скрылось солнце, а первые крупные капли дождя стали предвестниками обильного весеннего ливня. Нагая толпа кинулась было в казарму, но часовой преградил путь. На людей обрушились потоки воды, свирепо хлеща по голым телам. А они беспомощно жались друг к другу, прячась под жидкую крону деревьев. «О чем только думает начальство?» Но на этот одинокий и тоскливый вопрос ни у кого не нашлось ответа.

Между тем ворота казармы распахнулись, и старшина, рослый и здоровый малый, с нахальным взглядом из-под низкого лба, зычным голосом объявил:

– Слушай сюда! Белое здание за базаром – баня! Ясно?! Теперь, одна нога здесь – другая там! Ма-а-рш!

Только один миг замешательства. Одно мгновение. И вот более сотни нагих людей, проскочив ворота, с криком и гиканьем уже бежали через бревенчатый мост над ручьем, по базару, опрокидывая кувшины и кринки застигнутых грозой и обезумевших от страха торговок.

Слышали мы потом, что кому-то из начальства влетело, а по городу долго еще ходили слухи, обрастая подробностями очевидцев.

После бани получил я чье-то белье, пилотку, подмоченную гимнастерку «х/б», «б/у» – хлопчатобумажную бывшую в употреблении – четвертой категории, то есть всю латаную, а также собственные брюки и ботинки.

Одинаково форменные лишь сверху, строем по четыре, возвращались мы в казармы, обмениваясь на ходу впечатлениями. Небо прояснилось, гроза ушла, и воздух казался наэлектризованным свежестью.

Через некоторое время один из курсантов получил письмо, в котором оказалась такая строчка: «Вся Москва удивлялась тому, как вы голые бегали в баню».

В казарме старшина объявил:

– Запомнить всем: фамилия моя – Бычков. – И, пройдя меж нарами, каждому указал его место, выдал по две простыни, наволочку и одеяло.

Усталый от впечатлений, лежал я на нарах своего отделения. О чем я тогда думал? Вероятно, силился проникнуть в грядущее, возможно, мечтал, но вряд ли, хотя бы даже отдаленно, мог я представить себе все то, с чем пришлось столкнуться в будущем, что пришлось испытать в последующие дни, месяцы и годы военной жизни.

31 мая. Кормят нас по тыловой армейской норме: 600 грамм черного хлеба, 50 грамм сахара и приварок – суп и каша. А это значит, что мы всё еще в карантине. Курсанты военных училищ питаются по «12-й норме» и получают: хлеба черного 400 грамм, белого 300 грамм, сахара 75 грамм, масла сливочного дополнительно 40 грамм и приварок – утром суп и чай, в обед суп мясной, каша с мясом и компот, за ужином каша, рыба, чай.

Осмотрев наши пожитки, старшина Бычков заявил:

– Никакого барахла шобы у казарме нэ було. – И ушел. Куда ушел старшина Бычков, никому не было известно.

Часовой у проходной не обращал на нас никакого внимания, и казарма вскоре опустела. Пошел и я. На базаре было полно наших, продававших с себя по дешевке носильные вещи. За пиджак, жилетку и демисезонное пальто мне удалось выручить 800 рублей; сумма по тем временам незначительная. Однако на эти деньги посчастливилось мне приобрести в комисси-

онном магазине карманный «Мозер» – вороненые часы с черным циферблатом и золочеными стрелками – мечту моей юности. Недоставало секундной стрелки, но я был счастлив.

Комиссионный магазин находился на улице Красной, параллельной главному проспекту города – улице Советской. Это была маленькая уютная лавочка в полуподвальном помещении старого каменного дома, где торговал добродушный седой старик с закрученными усами и в пенсне с пружинным переносьем, как у Чехова. Старик уверил меня, что купленный мною «Мозэр» – это лучшее из того, что можно приобрести теперь в городе. Я поблагодарил его, и мне показалось, что он тоже остался доволен.

Достав часы за ремешок из нагрудного кармана, я убедился, что всего лишь двенадцатый час. Обед в два. Есть еще время, и я пошел потолкаться по базару – отоварился луком, чесноком, яйцами и клюквой. Клюкву мы ели с сахаром, предварительно растирая в кружке. Отвыкнув от этих натуральных продуктов в голодавшей Москве, мы поглощали их с жадностью и тратили на них последние деньги. Цены на базаре сносные: лук – 3 рубля за килограмм, чеснок – 4 рубля, водка – 30 рублей за литр. Как и следовало ожидать, многие из наших перепились. Но старшина Бычков при этом забыт не был. Так у кое-кого из курсантов налаживались отношения близости со всесильным хозяином положения в казарме.

Что касается меня, то я всегда был далек от подобного рода контактов. Более того, я чувствовал свою явную неспособность к таким отношениям и всячески избегал их.

Но старшина оставался старшиной, и кто бы он ни был, а вечером нам – нескольким москвичам, решившим посетить местный драматический театр, – пришлось-таки обращаться к Бычкову за «увольнительной». Посмотрев куда-то мимо нас осовелым взглядом мутных глаз, старшина рявкнул:

– Валяйте! Но шобы к отбою усе булы налицо!

Какая шла пьеса в тот день, я не запомнил… Домой же писал об «ужасающем зрелище», оценивая игру актеров «на уровне кружка самодеятельности»… В казарму вернулись вовремя, к отбою не опоздали… И вот, лежа на нарах, укрывшись синим байковым одеялом, я переносился воображением в Москву, в любимые мною театры – в ушах звучали арии из «Риголетто», «Севильского», «Бал-маскарада»… Я видел Хмелева в «Днях Турбиных» и «Анне Карениной»… А накануне отъезда из Москвы мы были с Никой на спектакле «Давным-давно» Гладкова с Добржанской в главной роли.

1 июня. Сильные и протяжные звуки трубы, возвещавшие «зорю», врезались в сон. Проснувшись, я все еще не в силах был сообразить, где я. Но зычный рык старшины вернул меня к действительности:

– Подъем! Умываться, заправить койки и на завтрак!

«Мозер» показывал пять утра. Умываться бежим на Сухону, к бане. После завтрака построение. Отобранные старшиной люди приносят шанцевый инструмент: топоры, лопаты, пилы. Очевидно, нас поведут куда-то что-то строить.

– Напра-ву! – ревет старшина и на последнем слоге «ву» вздрагивает и жмурится. – В походную колонну ша-га-а-м-а-рш!

Минуя ворота, поворачиваем за угол и идем тихими, безлюдными улочками на выход из города. Нас, оказывается, сопровождают командиры, но держатся они особняком, вдали от строя. Распоряжается нами пока что только старшина.

Шли мы долго. Дорога от пыли будто поднялась в воздух, и мы уже идем вроде не по ней, а как бы сквозь нее. Сегодня первый день июня, и солнце словно решило расплавиться само и расплавить всех нас. Гимнастерки взмокли, по раскрасневшимся лицам текли грязные, потные ручейки.

– Стой! – услышали мы зычную команду старшины Бычкова.

Переводим дух и озираемся – кругом болота, мелкий кустарник, осока и тучи комаров. Невысокого роста капитан, с эмблемами инженерных войск на черных петлицах, объявляет нам, что пришли мы строить учебное стрельбище. Нужно вырубать кустарник, рыть траншеи, сооружать убежища и блиндажи, перекрытые накатом из бревен с прослойкой земли. Капитан Лавров, преподаватель топографии и инженерно-саперного дела, как он сам представился, производил впечатление спокойного и выдержанного человека. Это он заложил в нас прочные знания топографии и элементарной фортификации, то есть основы тех самых военно-инженерных наук, без которых на войне, в условиях современного боя, немыслимо не только осуществление какой бы то ни было плодотворной деятельности командира, но и само выживание подразделения как боевой единицы.

– Тот, кто не умеет читать карты, – говорил капитан Лавров, – кто не способен ориентироваться на местности, тот слепой командир! А «слепой» – на что он пригоден там, где нужен «зрячий»?! Войско, зарывшееся в землю, неодолимо. Глубже зарывайтесь в землю, по всем правилам науки. Этим вы сохраните не только жизнь, но и боеспособность вверенного вам боевого подразделения. А на войне – это главное!

Распределив обязанности по взводам, инженер-капитан Лавров развел людей по объектам и дал каждой группе конкретное задание. Мы рубили кустарник. Жара стояла невыносимая, воздух был пропитан гнилостными испарениями, одолевали комары и мошки, хотелось пить, но воды, кроме болотной, не было, и мы тянули ее из луж через камышовые трубочки, преодолевая отвращение и брезгливость. Вода была теплой и вонючей.

Орудуя топором, я, промахнувшись, поранил себе ногу, прорубив насквозь ботинок. Удар, к счастью, пришелся меж пальцев, и я отделался лишь ссадиной и испугом.

В седьмом часу вечера мы вернулись в казарму. Кухни с нами не ходили – поэтому по возвращении мы получили сразу обед и ужин: обильные порции супа, гречневой каши с мясом и компот. Если бы мне теперь предложили съесть все это, я уверен, что не осилил бы и половины. Тем не менее некоторым курсантам бывало недостаточно даже и такой, усиленной нормы. Они постоянно просили у повара добавки и сразу же к ним прилипла кличка «подрубщики».

«Подрубщики» – что это такое? Слово это жаргонное, образованное от глагола «рубать». А на блатном сленге – «фене» – означает «добытчик». Самыми ярыми подрубщиками дивизиона слыли: Женька Холод – спортсмен и красивый малый; баянист Орлов; похожий на суслика Парамонов; кругленький Уткин и длинный как жердь Богданов. Только никому из них не удавалось превзойти на этом поприще Анатолия Гунченко из второго взвода. Этот мог поглощать фантастическое количество пищи, всегда оставаясь худым и голодным.

У Гуна, как его все звали в роте, огромный мясистый нос, густые от переносья, круто вздернутые вверх брови и смешные, щеточкой усы. Угольные глаза его горели весельем и остроумием, а нижняя губа, смачная и отвислая, была постоянно в состоянии улыбки. Одни считали его похожим на старинного базарного Петрушку; другие, наоборот, видели в нем легендарного гасконца Сирано де Бержерака. Как бы там ни было, но с именем Тольки Гунченко связано немало смешных и веселых историй, розыгрышей, анекдотов, которые невозможно забыть и которые, в общем-то, скрашивали нам напряженные и трудные дни казарменной жизни, курсантской учебы и армейской службы.

Во втором взводе было двое солидных интеллигентов: юрист Лемке тридцати шести лет, с испитым лицом, круглыми карими глазами и небольшими усиками «бабочкой», другой – его сосед по нарам – плотный, рыжеватый и губастый инженер-экономист Гулак. Согласно распорядку, все мы на ночь вешали свои портянки на голенища сапог, для проветривания и просушки. У Лемке портянки всегда беспросветно грязные, у Гулака, наоборот, всегда стиранные. Вот Гунченко и не ленился каждую ночь менять портянки на сапогах у Лемке и Гулака, то поодиночке, то обе сразу. Только труба запоет «зорю», а старшина рявкнет «Подъем», в казарме уже слышны вопли:

– Лемке! Вы опять подсунули мне свои вонючие и грязные портянки!

– Вы идиот, Гулак! С какой стати, я, человек интеллигентный, стану подсовывать вам свои портянки?!

– Лемке, вы мудак! Во всем взводе нет портянок грязнее ваших.

– Какая же вы проб…ь, Гулак!

Конец перебранке кладет старшина, объявляя по наряду вне очереди обоим. И вот, вместо послеобеденного отдыха, Гулак и Лемке, вооруженные ведрами и тряпками, драят в казарме полы, непрестанно переругиваясь.

– Обратите внимание, – раздается вдруг с нар голос Гунченко, – как интеллигентно и на «вы» кроют друг друга матом эти два солидных и образованных человека.

Вне всякого сомнения, и Гулак, и Лемке догадывались о том, кто менял по ночам на их сапогах злосчастные портянки. Но стоило им утром обнаружить подвох, как все начиналось сначала.

Женька Холод был атлетом и профессиональным фехтовальщиком. Ходил он с гордо поднятой головой, с осознанием собственного превосходства над другими. Женька не злоупотреблял своей силой, но и не допускал какого-либо ущемления собственных интересов. Но вот однажды кто-то все-таки отважился подшутить над Холодом. После дежурства на кухне Женька притащил в казарму три огромные селедки и спрятал их в матрац собственной койки, рассчитывая полакомиться ими при удобном случае. Через некоторое время он сунулся в тайник, но нашел там одни лишь тщательно обглоданные скелеты. Разъяренный, Женька схватил маленького Баева, который тем днем дневалил, поднял его в воздух и дико заорал:

– Говори! Кто нашкодил? В окно выброшу!

– Женечка, миленький, – лепетал перепуганный Баев, – отпусти, ей-богу, не видел!

Однако наш юрист Лемке сразу же определил, что «столь изящно обработать селедку мог только один человек – Гун!». Так оно и было. Задор у Холода со временем остыл, и он уже от души смеялся над этим со всеми нами.

Многие из курсантов попадались на острый язык нашего Гуна, многие становились объектом его озорства. Одни обижались, но большинство относилось снисходительно, радовалось его беззлобным проделкам, его солдатскому юмору, без которого жизнь в казарме была бы тягостной и мрачной. Минули годы, и имена многих и многих выветрились из памяти, но нет ни одного из оставшихся в живых, кто не помнил бы Тольку Гунченко, его веселого озорства и острого как бритва языка.

2 июня. На утреннем построении объявлено о начале занятий. В подразделении появился преподаватель политической философии старик-латыш из бывших стрелков, батальонный комиссар Пулкас. Сухой, сутулый, бритоголовый и в пенсне. На довоенной коверкотовой гимнастерке с красным кантом – алые нарукавные звездочки политработника, сапоги высокие с козырьками, фасона двадцатых годов. Держался Пулкас замкнуто и отчужденно, говорил с сильным прибалтийским акцентом и в среде курсантов пошло гулять характерное его словечко «ешче». На лекциях Пулкас никогда не смотрел в глаза слушателям, не вступал с ними ни в какие разговоры, не предусмотренные программой, и не обращал никакого внимания на то, что большинство курсантов на занятиях читают посторонние книги, пишут письма или готовятся по другим предметам. Его звали Сухарем, Воблой. Очевидно, он это знал, но на экзаменах по его предмету никогда и никого не срезал и не заваливал.

Странный был батальонный комиссар старик-латыш Пулкас. Но курсанты наконец к нему привыкли и даже стали «уважать».

Фронтовики, начавшие понемногу привыкать к нам, мальчишкам, постепенно принимали нас в свою компанию, и в перерывах между лекциями мы, затаив дыхание, слушали их разговоры.

– Немцы на танках прут, пехота их на автомашинах, – слышу я хриплый голос сержанта Падалки, – наши Т-26 супротив их – консервные банки, броня – от пуль не укроешься. Моторы изношены, запчастей нет.

– А шо у нас спротив тих танкив? – говорит сумрачный Коломиец, – сорокапятка «прощай, Родина», та поллитра с бензином. Смех.

Мы молчим: все это так необычно, страшно и никак не вмещается в наше сознание. Возникшая вдруг тишина давит на душу. Но разговор продолжается.

– Кому только сказать – артиллерийский парк возить не на чем. Автомашин нет. Тракторов нет. Лошадей – и тех нехватка. Куда ж все подевалось-то?!

– Бои идут, – перебил чернявый парень из соседней роты, – а в подразделениях некомплект командиров. На ротах младшие лейтенанты, а то и сержанты. В частях нехватка оружия, техники, боеприпасов.

– Зато комиссары все уши прожужжали: «Врага будем бить на его территории!» И что? Не мы их, а они нас бьют! Да еще как!

В душу проникала жуть. Фронтовики подозрительно поглядывали на нас. Теперь-то я знаю: меньше всего они опасались вероломства и предательства с нашей стороны. Хотя и такая возможность не исключалась. Тяготило их, по-видимому, нечто иное, и боялись они самого обычного непонимания с нашей стороны. Уже тогда я подсознательно чувствовал это.

Им, очевидно, известно такое, думал я, что совершенно неведомо нам. Они первыми отведали отступления, хлебнули беды полной мерой. Конечно же, их искренним желанием было поделиться с нами своим и народным горем. А выходило все как-то не так, все не те слова попадали на язык.

Значительно позже, когда я сам уже побывал в боевых передрягах, мне стало ясно: никакие рассказы не заменят личного опыта.

– Ладно, братцы, не пугайте ребят, – спокойно и тихо произнес Иван Сочнев, – война есть война. А на войне всякое бывает.

Старший сержант Сочнев – несколько грубоватый и сильный мужик, превосходивший остальных курсантов и возрастом, и фронтовым опытом. После окончания училища Сочнев вскоре стал капитаном и командиром стрелкового батальона на одном из самых опасных участков Ленинградского фронта.

В подразделениях между тем сортировали личный состав: то от нас забирали кого-то, то к нам присылали новенького. Очевидно, отсутствие начальства вовсе не означало, что нас забыли. После нескольких перетасовок мы вдруг убедились, что подбор курсантов в учебных ротах не случайный и что наша рота оказалась самой молодежной и самой высокообразованной: студенты и аспиранты, научные сотрудники и преподаватели, инженеры, юристы, художники вошли в состав ее взводов и отделений.

Сержантский состав в роте, наоборот, оказался малообразованным и даже малограмотным. Но это все были опытные строевики, и среди них старший сержант Максим Пеконкин, командир нашего отделения, выделялся как личность весьма и весьма незаурядная. Младший командир срочной службы, он отлично понимал, кто у него под началом, и никогда не вступал в прения с языкастыми студентами. Глаза у Максима были черные, проницательные, губы толстые, как у негра, нос широкий с горбинкой, кисти рук сильные, а ноги разлапистые. Он великолепно знал оружие, был выносливым, физически силен и ко всему относился по-хозяйски. У него был гуталин, сапожная щетка и суконка, которой он до блеска надраивал свои сапоги. В строю я стоял следом за командиром отделения, и в моей памяти запечатлелся коренастый, стриженый затылок Максима и его сильная загорелая шея.

Наш отделенный не выносил крохоборства и кусочничества. Если кому-то за столом случайно доставался меньший кусок, а кому-то больший, то это не могло быть причиной склоки и скандала. В армии известно немало способов дележа харча, и по ним обычно судят о взаимо-

отношениях в подразделении – о нравственной чистоплотности отдельных лиц. Наш Пеконкин обычно сам разливал суп по мискам, резал хлеб, селедку, делил сахар и масло. Иногда он поручал это кому-нибудь из нас ради проверки: не сжульничает ли? И все воспринимали эту черту характера нашего сержанта как своеобразный нравственный аристократизм.

Соседним отделением командовал младший сержант Бучнев – невысокого роста юркий парень, любитель выпить и стянуть, что плохо лежит. Не долгим было пребывание Ивана Бучнева в училище – его быстро раскусили и с первой же партией отчислили на фронт. За столом Бучнев ратовал за справедливость – селедку резал на мелкие куски, которые затем хитро комбинировал. Сухари, сахар раскладывал, казалось, с аптекарской точностью, но отлично знал, как при этом надуть и сжульничать. Курсанты возмущались и негодовали, а он мстил им по мелочам на занятиях и по службе.

Авторитет нашего Пеконкина рос день ото дня. Мы ценили его как личность оригинальную и любые намеки со стороны на его «необразованность» пресекали на корню.

3 июня. На утренней поверке наконец появилось начальство, и все сразу же стало на свои места.

– Здрасссьтетварищщщикурсаанты-ы-ы! – услышали мы слитно-протяжное, с ударением на последнее «ы», приветствие.

Перед строем артиллерийско-минометного дивизиона стоял невысокого роста меднолицый человек с одной шпалой на петлицах.

– Капитан Краснобаев, – представился он, – командир вашего пятого учебного батальона или артиллерийско-минометного дивизиона.

Опрятный, коротко стриженный, чисто выбритый, с белоснежным подворотничком на гимнастерке, в блестящих сапогах и прямо посаженной на голове фуражке, он как бы всем своим видом утверждал: «Смотрите! Вот каким должен быть образцовый командир Красной армии».

Рядом с командиром комиссар – старик-армянин с седой курчавой шевелюрой и четырьмя шпалами на черных петлицах политработника. Полковой комиссар Матевосян, сразу же снискавший любовь и уважение курсантов.

Несколько сзади – начальник штаба батальона, раненный в правую руку, старший лейтенант Максимов. Он приветствует левой рукой, виновато при этом улыбаясь.

В стороне командиры учебных рот: 17-й – лейтенант Ерохин, 18-й – старший лейтенант Тимощенко, 19-й – старший лейтенант Кузнецов и 20-й – старший лейтенант Козлов.

Итак, командиром нашей 18-й учебной роты стал старший лейтенант Тимощенко – худой, подвижный украинец с тонкой шеей, большим ртом и сильной челюстью. Обмундирование на Тимощенко хорошо пригнанное и улаженное, модные сапоги «джимми» с короткими голенищами блестят словно зеркало.

Порядковый номер нашего взвода – первый, и командиром его стал лейтенант Синенко – добродушный славный парень, наш сверстник. Он тоже с Украины, и все мы долго потешались над его мягким малороссийским выговором с непривычными оборотами речи. Так, вместо «может быть» он говорил «мабудь», «хвамилия» – вместо «фамилия» и «спольнять» – вместо «выполнять». В сорок первом он был ранен в ногу, окончил Пуховическое училище и теперь был направлен к нам в качестве командира нашего учебного взвода. Гимнастерка ему была явно не по росту. Кубики на ее петлицах – не металлические, а вышитые белыми нитками неумелой рукой. Галифе – словно казачьи шаровары, сапоги кирзовые на два номера больше и, вероятно, никогда не знавшие ни гуталина, ни сапожной щетки. Не было на нем и щегольской фуражки, а носил он старую замызганную пилотку, носил лихо набекрень, выпустив наружу непокорный чуб светло-русых волос. С курсантами у Синенко сразу же установились ровные деловые и товарищеские отношения. Он отлично понимал, с какими людьми имеет дело и кем

командует. Материальную часть оружия, огневую подготовку и тактику преподавал со знанием дела… А вот когда проблема касалась «синусов» и «косинусов», он без стеснения и запинки заглядывал в наши конспекты и частенько просил «пояснений ради урозумлевания». В перерывах, на привале он шутил с нами, но всегда в меру. Мы ценили эти качества нашего взводного и страшно боялись, как бы его от нас не забрали.

Из прочих взводных нашей роты особенно запомнились лейтенанты Нецветаев и Перский – командиры второго и четвертого взводов.

Нецветаев был из местных – низкорослый, плотный, чем-то напоминавший девушку, с тихим и мягким характером и «цакающим» выговором. Трудно, пожалуй, представить большее воплощение доброты и отзывчивости в строевом командире. Однажды, доведенный до слез, он сказал курсантам: «Чего вы хотите?! Не вам у меня, а мне у вас следовало бы учиться. Вы тут все с высшим образованием, а у меня за душой строительный техникум». Откровенное признание Нецветаева тотчас стало известно всей роте. Присмирели курсанты: это сбило с них спесь столичных интеллектуалов. С этих пор мы сами стали следить за дисциплиной и никогда более не делали пакостей своим взводным. А на зачетных смотрах первый и второй взводы неизменно получали призы и первые места. Лейтенанта Дмитрия Нецветаева убили 30 января 1944 года на Лужском направлении у деревни Скачели.

Лейтенант Перский был полной противоположностью и Синенко, и Нецветаеву. С небольшим девятнадцати лет, с детской типично еврейской физиономией, он выглядел худосочным мальчишкой, нарядившимся в военную форму. Очевидно, он это ощущал, страдал от этого и всячески старался упрочить свой авторитет. С нами Перский обращался с подчеркнутой официальностью, ходил медленно и постоянно читал нравоучения. Это выглядело смешно – многим из нас было за тридцать, и находились люди с учеными степенями. К лейтенанту Перскому мы относились с оттенком неприязни, и он это, надо полагать, понимал, по-своему переживал и выглядел порой жалким и неуверенным в себе мальчишкой.

Курсанты тогда питались лучше командиров, которые получали обычную, не усиленную норму. И мы постоянно приглашали наших взводных к столу. Нецветаев и Синенко охотно подсаживались, доставали ложки и хлебали с нами суп, ели кашу. Перского к столу не приглашали, и он, с гордо-каменной миной на лице, заложив руки за спину, медленно прохаживался по центральному проходу столовой все то время, пока мы ели. Карьера его в училище окончилась как-то внезапно – он был отчислен на фронт и канул в неизвестность. Ходили слухи, что он якобы похитил со склада какое-то масло. Но так ли это было, сказать трудно.

Тотчас после построения и знакомства с начальствующим составом дивизиона около комиссара Матевосяна собралась толпа курсантов. Нигде более не встречал я подобного комиссара. Убеленный сединами, сгорбленный преждевременными ударами судьбы, он не озлобился, не одичал, не замкнулся, как многие, но продолжал оделять всех, с кем общался, добротой и сердечностью. Каждый норовил пробиться к нему поближе, чтобы перехватить хотя бы малость его духовного тепла. Оторванные от дома, курсанты звали его «отцом», и он, действительно, стал отцом того огромного и живого организма, имя которого «учебный батальон». В отличие от командира комиссар не любил упекать нашкодивших курсантов на «губу» – так в училище звали гауптвахту.

– Губа еще никого и ничему не научила, тем более губа ничему не научит будущих командиров, – гортанно-резко выговаривал он капитану Краснобаеву, – я лучше тебя знаю людей. У тебя одна палка на петлицах, а у меня забор целый.

Старик Матевосян намекал тут на свои четыре шпалы. Но всем было ведомо, что в начале войны на петлицах комиссара сверкали ромбы.

Шепотом передавали, будто Матевосяна вызывал Сталин и спрашивал его: почему он вышел из окружения один? В сорок первом Матевосян занимал пост начальника политуправления армии, побывал в окружении, после чего и лишился ромбов. Назначение его в училище

было сильным понижением в должности. Но могло быть и хуже. И никого в дивизионе так не уважали, как старика-комиссара Самвела Матевосяна.

Командир учебного батальона выглядел строгим и придирчивым: за нарушение дисциплины и устава карал без снисхождения, «выдавал на всю катушку». Тем не менее курсанты его не боялись – на губу шли с вызовом и хвастались, что схлопотали у Краснобайки «пару строгачей».

Боялись курсанты лишь одного комиссара, но боялись по-особому, не за страх, а по совести – боялись причинить старику боль и огорчение!

– Ну, кто у нас в батальоне запевала будет? Ты? – И Матевосян пристально смотрит на смуглого, черноглазого Витьку Чеканова.

Тот смутился и удивленно переспросил:

– Я?

– Ты! Скажишь, нэт?! Зачем тогда гитару привез, если пэть нэ собираишься? Для мэбэли? Да?!

Все вокруг захохотали.

Павлик Папенков из семнадцатой очень скоро прославился на все училище исполнением лирических песен и романсов. Обладатель высокого, несколько слащавого по тембру голоса, он имел немалый успех на концертах в городе и вскоре стал кумиром устюжской публики, срывая у нее бурные аплодисменты. Курсанты Папенкова не любили – в казарме, среди своих он не пел, берег голос. В строю тоже пел редко, мотивируя тем, что голос его камерный и «садится» на воздухе. При этом Павлик покашливал и прикрывал гортань ладонью, как это делают знаменитые певцы.

Полюбили курсанты всей душою чернявого, похожего на цыгана, Чеканова Витьку, безотказного запевалу и гитариста. Вечерами, перед отбоем собирались около Витьки ценители старинных романсов и песен. Пел Витька чувственно, задушевно, с надрывом. Его горловой, будто треснувший голос проникал в душу щемящей радостью. Когда же Витька, подражая Козину, начинал романс Семенова: «Снова пою песню твою – тебя люблю, люблю», – в памяти возникали картины недавней, но такой уже далекой школьной жизни: каток «Буревестник» в Самарском переулке, я и Ника плавно скользим по льду под звуки козинской пластинки.

Особенно же популярными в Витькином исполнении стали старинные гусарские песни, припев которых подхватывали хором.

Песни гусарские лихо поются,
Льется рекою вино.
Пьют всё гусары, пьют не напьются,
Счет потеряли давно.
Сегодня мы веселы, пьяны, довольны,
А завтра – на бой со врагом.
И, может быть, завтра уж бранное поле
Украсится свежим холмом.

Из состава выпускников нашего курса Витька Чеканов погиб одним из первых. Он не дошел до передовой. Его убили в марте сорок третьего под Красным Бором. Не довелось Витьке стать боевым командиром, и, казалось, прожил он свою короткую жизнь только ради того, чтобы радовать товарищей своих курсантов красивой и задушевной песней.

Был среди нас и еще один Виктор, по фамилии Федотов. В суете казарменных будней мало кто обращал внимание на худого, молчаливого и будто чем-то озадаченного курсанта. А он оказался поэтом. В армию попал с первого курса литературного института, и вскоре в стенной печати стали появляться его стихи.

– Убьют тебя, не иначе, – сказал как-то Федотову ротный, – непременно убьют. На войне поэтам делать нечего, там им не место!

Миновал срок учебы, и, прикрепив два кубаря на петлицы, отправился Витька Федотов на Ленинградский фронт. И не убили его ни под Красным Бором, ни под Псковом, ни на Карельском перешейке. Командир минометной роты и там писал стихи:

Мы в бой идем. Исчерчены двухверстки,
и в уголках на карте полевой
моих стихов привычные наброски
немного наспех схвачены строфой.

5 *июня.* Для оформления батальонного клуба по ротам набирали людей, умеющих рисовать и обращаться с красками, и под командой курсанта Капустина, как и я студента училища живописи на Сретенке, сколотили бригаду художников-оформителей. Нужно было методом сухой кисти писать по бязи портреты членов ЦК, готовить лозунги и плакаты, придумывать декорации для концертов художественной самодеятельности. Работы предполагались немалые, и это давало нам повод игнорировать занятия, лишний часок поспать, свободно бывать в городе и на базаре – соблазн немалый, что и говорить. Однако всем нам предстояли серьезнейшие испытания на адаптацию к армейской, казарменной среде. Необходимо было втягиваться в военную учебу и приспосабливать себя к условиям дисциплины и строя. Работы в клубе явно мешали этому процессу, создавали ощущение раздвоенности. Даже невинное рисование портретов своих товарищей, занятие, к которому я было пристрастился, выбивало из четкого армейского ритма. Вывод напрашивался сам собою: нужно выбирать. Мучили сомнения и нерешительность. Но, преодолев себя, я все-таки сделал свой выбор и никогда после не жалел об этом.

8 июня. После отбоя меня разбудили. Прижимая указательный палец к губам в знак молчания, старшина Бычков приказал мне мыть полы в казарме. Это не входило в мои планы – я хотел спать. Накануне мы долго работали в клубе, и я справедливо предполагал, что полы должен мыть кто-то другой, но никак не я. Поэтому-то я и пустился в пререкания со старшиной Бычковым. Что делать, я был так воспитан, приучен с детства к тому, чтобы везде и всюду «беречь свои собственные силы», никому не давать повода «обижать себя», но самому «на всех обижаться». Я твердо знал, что мать моя никогда бы не одобрила поведения старшины Бычкова. Говорил я долго, старшина меня не перебивал. Но лишь только я запнулся, велел мне идти за водой и тряпкой.

– Между прочим, – сказал я, зашнуровывая свои ботинки, – существуют элементарные нормы общечеловеческой справедливости, которые не отменены в армии и которые не мешало бы соблюдать некоторым из младшего командного состава.

– Вымоешь полы, – отрезал старшина, – тогда и поговорим о справедливости.

Полы пришлось мыть. Я торопился, времени для сна оставалось совсем мало. А старшина, даже не взглянув на мою работу, приказал все это «повторить для профилактики». Я оторопел. Но лишь только было раскрыл рот, как старшина перебил меня:

– Это тебе для вразумления. Чтобы вник: какая в армии справедливость. И учти: я старшина добрый. По первому объясняю: «Не умеешь – покажем! Не хочешь – заставим!» И еще. Ежели услышу хоть одно слово, акромя солдатского «есть!», будешь у меня все ночи подряд полы драить, пока в толк не возьмешь, что к чему. Казармы мало будет – на лестницу пойдешь, она длинная.

Рожок пел «зорю», а я выжимал последние капли воды из половой тряпки. Спать мне так и не пришлось. Не пришлось нам заснуть и после обеда в положенный по уставу «мертвый

час». Старший сержант Пеконкин молча выстроил отделение вдоль нар, принес ведро воды, тряпку, засучил рукава гимнастерки, надел поясной ремень через плечо и стал мыть пол. По окончании мытья сержант распрямился и изрек спокойным и авторитетным тоном:

– Полы в казарме моются так: чтобы доски блестели и чтоб сапог не забрызгать.

Возражать было нечего. Мы молчали. Половые доски действительно сверкали влажной древесиной, будто и не топтали их грязные солдатские сапоги, а его собственные сапоги сияли, будто свежевычищенные.

9 июня. Во второй половине дня по расписанию у нас предполагалась подготовка одиночного бойца в наступательном бою. Зачет по этой теме назначен на 12 июня. Что это, собственно, такое, никто из нас, естественно, не знал!

В мае месяце 1942 года военные училища получили под грифом «секретно» проект «Полевого устава пехоты» в новом варианте, проект, утвержденный самим «верховным», то есть Сталиным!

Итак… Отныне принципиально запрещалась атака так называемой «сплошной цепью» во весь рост, с винтовками наперевес и во главе с командным составом. Система пулеметного, минометного и артиллерийского огня стала настолько мощной и истребительной, что приемы ведения боя полувековой давности становились уже явно преступно безграмотными… И нам, курсантам набора 42-го года, предстояло на практике не только осваивать готовое, но и «изобретать» «нечто» до того никогда не применявшееся. Тут особое значение отводилось умению переползания по-пластунски в боевом снаряжении, преодолению нейтральной полосы с наименьшими потерями.

С тяжелыми старинными трехлинейками на плечах, клейменными двуглавым орлом, шли мы тихими улочками, поросшими травой, на окраину города – туда, где взвод обычно проводил свои занятия. По пути курсанты перебрасывались фразами. Говорили всякое, говорили и о том, что, отправив нас на занятия, Бычков запрется в каптерке, выпьет водки, закусит базарным огурчиком и завалится спать. Я молчал. Да, я знал, что старшина дрыхнет теперь пьяный в своей каптерке и что встретит он нас с заспанной и опухшей рожей. Но после вчерашнего, я это чувствовал, во мне что-то переломилось, открылось в душе нечто такое, чего я еще даже и сформулировать-то не мог.

Погода стояла неуравновешенная, дули пронизывающие северные ветры, а по небу ползли рваные, тяжелые облака. Когда светило солнце, то опаляло жаром, но лишь солнце пряталось за тучу, как сразу обдавало холодом. Шинели наши были в скатках, и мы носили их через плечо. Катать скатку – целое искусство. Она должна быть ровной, тонкой и упругой. Раскатывать скатки без специального приказа не разрешалось.

В тот день мы тренировались в переползании по-пластунски. Извивая тело змеей и не отрывая его от земли, с полной выкладкой, нужно было, применяясь к местности, проползти положенное расстояние так, чтобы экзаменатор, в котором предполагался «противник», не обнаружил переползающего. Обнаруженный считался «убитым» и получал отрицательную оценку. Тренировкой руководили сержанты – командиры отделения.

Рядом с нашим занималось отделение Бучнева, в котором было двое «пожилых» – то есть людей старше тридцати пяти лет: учитель Пилипенко, человек солидный и тучный, и счетовод Гуревич, неповоротливый и слабосильный еврей. Бучнев заставляет их ползать по неровностям почвы, по лужам, по грязи до изнеможения, подгоняя окриком: «Пилипенко, вперед! Гуревич, вперед!»

Все видели, что Бучнев измывается над людьми. Но все так же видят и то, что Синенко, добрый и отзывчивый по природе, ни единым словом, ни единым жестом не остановил зарвавшегося «унтера». Он молча прохаживался между отделениями, и лишь игра желваков на его скулах выдавала напряженность его внутреннего состояния.

– Неужели в армии таков закон, – спрашивал я сам себя, – что лейтенант не имеет права осадить зарвавшегося сержанта в присутствии рядовых?

На обратном пути в казарму мы потихоньку беседовали. Олег Радченко из второго отделения – москвич, аспирант с биофака, на четыре года старше меня. В строю он стоит справа и рядом.

– Как ты думаешь, – спрашиваю я у Олега, – почему Синенко не оборвал Бучнева?

– У законодателя Афин Солона, – начал Олег таким тоном, будто собирался читать лекцию, – есть изречение: «Прежде чем приказывать, научись повиноваться». А великий спартанец Хилон на вопрос, как он стал эфором – высшим начальником в Спарте, – ответил: «Я умею выносить несправедливости». Конечно же, наш лейтенант не читал Диогена Лаэртского, но существо вопроса понимает правильно. Основа армии дисциплина: хочешь повелевать – умей повиноваться и подчиняться! Так-то вот.

Вечером, сидя в своем углу на нарах, Максим Пеконкин сказал нам:

– Дисциплина на войне – это жизнь, анархия – смерть! Это уж вы мне, ребята, поверьте! А суть ее – дисциплины, стало быть, – в приказе и подчинении.

Только вот не все курсанты осознавали этой непреложной истины, добывавшейся людьми горьким опытом на протяжении веков. Порой, доведенные до отчаяния, они срывались и бывали готовы на решительные и безрассудные действия. Так, однажды Витька Денисов из девятнадцатой, заводной и азартный парень, чуть было не пропорол штыком своего помкомвзвода сержанта Колдунова. К счастью обоих, помешала пирамида. Возбуждение и страсть остыли, и оба никому ни слова. Вспомнили об этом лишь тогда, когда сами стали лейтенантами.

Трудно было нам, московским школьникам и студентам, инженерам, учителям и научным сотрудникам, в короткие сроки усваивать принципы жесткой воинской дисциплины, этого «краеугольного камня» любой армии.

И то, что большинство из нас стало хорошими офицерами, независимо от индивидуальных и личных качеств каждого в отдельности, была несомненная заслуга общей доктрины военного образования, господствовавшей в те времена во всех военных училищах и сохранявшей традиции дореволюционных юнкерских школ. Многие из командиров и преподавателей нашего военного училища, получивших военное образование уже после революции, занимались и обогащались опытом у профессоров из бывших офицеров старой Русской армии.

Начальник нашего Великоустюжского пехотного училища подполковник Самойлов и начальник учебной части подполковник Штриккер (швед по национальности) были людьми высокой военной культуры. Видели мы их не часто, да и то издалека. Но твердое и разумное руководство их ощущалось постоянно. Училище наше, сформированное в самые тяжелые дни войны, во всем испытывало нужду и нехватку, и от начальства требовались исключительные качества администраторов и педагогов, чтобы в подобных условиях и в такой короткий срок подготовить командные кадры для фронта вполне удовлетворительной квалификации.

Сам я не стал кадровым офицером и демобилизовался вскоре после окончания войны. Но на всю жизнь сохранил я навыки, привитые мне именно в стенах военного училища, где из разболтанных, изнеженных мальчишек формировали мужские характеры, способные трезво смотреть на жизнь и быть в ней активными участниками.

13 июня. Нас подняли среди ночи. Тревога! Впервые услышали мы звуки сигнала, рвущего душу и вытягивающего нервы. Горнист трубил назойливо и долго, трубил, пока дивизион полностью не застыл в строю. Мой «Мозэр» показывал начало второго.

На улице ливень и резкий, порывистый ветер. Стоя в грязи на плацу, мы дрожали от холода. Согласно учебному плану, предполагался ночной тренировочный поход в трудных климатических условиях. Но когда начальство обошло строй, то обнаружилось, что обувь, в кото-

рой мы приехали из дома, развалилась – большинство было в опорках, а некоторые стояли босиком. Поход отменили, людей вернули в казармы. Но сон был нарушен, и спать не хотелось.

Подъем прошел вовремя, но из-за плохой погоды и днем не было полевых занятий. Сидели в классах, долбили уставы и наставления по стрелковому делу. Писали письма и, конечно же, изощрялись в остроумии.

14 июня. Воскресенье. Несмотря на войну, нам предоставлен отдых. Чувствовалось потепление. На улицах непролазная грязь. Булыжная мостовая и каменные тротуары в Устюге только лишь на главных улицах – на прочих тротуары дощатые. Глядя в окна, мы наблюдаем за прохожими. Степенные бабы с узлами, корзинками и кувшинами волокутся на базар. Порой пробежит, стуча каблучками по доскам, девушка из местных, посмотрит на наши окна, улыбнется и побежит дальше. Увольнительные в город отменены, да и выходить не в чем. Сидим, обсуждаем новости.

Обнаружился первый случай воровства. У меня сперли две пачки табаку. По тем меркам это 2500 рублей, сумма немалая. Другие лишились кто табаку, кто мыла, кто бритвы, у кого-то увели носки. Но вора поймали, судили и с маршевой ротой отправили на фронт.

Пользуясь отсутствием начальства, я лежу на койке, заложив руки за голову. Это до сих пор моя любимая поза при отдыхе. В углу на нарах первого отделения спорят, и в который уже раз обсуждается один и тот же вопрос: «Как могло случиться, что немцы застали нас врасплох?!»

Я лежу молча и слушаю. Разговор касается темы страха, и до меня долетает фраза: «Страшна не смерть, – безысходность. Страшно не окружение, а обреченность».

Тогда, в училище, слова эти оставались для меня до времени как бы «запечатанными тайной печатью». Не имея фронтового опыта, не мог я проникнуть в их сокровенный смысл. Не ведал я и того, что суждено мне будет благополучно окончить курс училища, длительное время воевать, побывать в тылу противника, но так никогда и не испытать ощущения безысходности и обреченности. Теперь я знаю: именно в этом, несомненно, и было мое личное счастье.

15 июня. Погода не улучшилась, дует холодный резкий ветер, идет дождь, и сырая беспросветная мгла повисла над городом. Дороги раскисли. Рота ушла на стрельбище за восемь километров. Несколько человек, в том числе и я, чьи башмаки окончательно развалились, оставлены в казарме в качестве дневальных.

– Читал расписание? – спрашивает меня Николай Морозов. Свои модные полуботинки с лаковой осоюзкой он сдал старшине и ходит теперь босиком. – На 19.00 назначен зачет по тактике. Тебе ясно?!

– Отменят, – говорю я не вполне уверенно.

Пользуясь тем, что в казарме никого нет, я достал акварельные краски, кисть и прямо на почтовой открытке стал рисовать интерьер нашей комнаты. Дверь открыта, и в проеме видны деревянные нары, крашенные в зеленый цвет. На нарах заправленные койки.

Не военному человеку, даже отдаленно, не представить себе своего рода казарменного «культа» – процесса заправки коек. Это подлинное испытание терпения, воли и нервной выдержки курсанта.

Собственно, «койкой» именуется матрац, набитый соломой, который в заправленном состоянии, то есть обернутый байковым или суконным одеялом, должен иметь идеально правильную форму. В ногах – белая окантовка из пододеяльника, одинаковая по всему отделению. В головах – взбитая подушка, с двумя вмятинами по углам. На одну треть матраца, от головы, на одинаковом уровне по всем койкам, кладутся сложенные треугольником полотенца. Ворс на одеяле расчесывается жесткой платяной щеткой и должен иметь на всех койках отделения одинаковое направление и отсвет. Если же у кого-то из отделения койка окажется не в порядке

– неопрятно заправленной, окантовка пододеяльника шире или уже остальных, полотенце не на месте, – грозы не миновать. Одеяла, матрацы, простыни, подушки, личные вещи – все летит на пол, в кучу, и не приведи господи подобный разгром увидеть командиру роты или же самому капитану Краснобаеву – расправа последует скорая, вплоть до отчисления из училища. Зная это, курсанты заправляли койки тщательно и добросовестно.

17 июня. Наконец-то привезли недостающее обмундирование, и мы получили белье, брюки, сапоги и шинели. Шинели первой выдачи отобрали – они оказались настолько плохи, что теперь, пожалуй, даже трудно представить их настоящий внешний вид. Собранные по госпиталям после раненых, они носили следы крови, во многих местах были прожжены, порваны и грязны. Шинели новой выдачи оказались тоже «б/у», но все-таки вычищенными, отремонтированными и продезинфицированными.

В довершение ко всему, курсанту Амосову досталась шинель, когда-то принадлежавшая маршалу Тухачевскому, с остатками красной подкладки, кантами и именным клеймом, которое почему-то не спороли.

Сапоги привезли с яловыми головками и голенищами, сшитыми из обрезков хромовой кожи. Обувью удовлетворили всех, и только Морозову не могли подобрать размера – пришлось выдать ему из комсоставского фонда.

Несмотря на бедность и убожество наших носильных вещей, мы тщательно заботились об их внешнем виде и подгоняли их по фигуре. Например, мне пришлось ушивать ворот гимнастерки на два пальца. Морозов улаживал пилотку, приспосабливая ее под свой плоский затылок. Кто-то убавлял в поясе брюки, а малыш Баев основательно укорачивал рукава. Все мастерили сами, острили и смеялись при этом. В нашем положении, в условиях полевых занятий, лучшего костюма и не требуется. Хотелось бы, конечно, в театре или кино, в летнем саду или просто на улице щегольнуть модным кителем, но в военное время такие курсанты, как мы, вряд ли могли рассчитывать на получение выходного костюма.

Наиболее неприспособленным к условиям военного училища оказался тот самый Абрам Маленький, что выехал с нами из ростокинского военкомата. Обмундирование висело на нем, как на колу, и он не прилагал ни малейшего усилия, чтобы хоть как-то его уладить. Но самое страшное, что только могло быть, – так это его психическая подавленность. Видели часто, как он, находясь в трансе или шоке, смотрел в одну точку расширенными зрачками. Ночами, сидя на койке, он стенал и плакал о своей беспросветной и горькой участи. В училище его держать не стали и отчислили при первой же инспекции с маршевой ротой. Вскоре пришло известие, что он погиб при артобстреле, будучи подносчиком мин на батарее.

18 июня. Я сфотографировался. Лейтенант Синенко отпускал нас без возражений. Карточки изготовлялись здесь размером не более как три на два сантиметра. Рассматривая фото, я не мог понять: чем оно так взволновало всех моих домашних? С маленького прямоугольника смотрит физиономия упитанного, несколько хмурого молодого человека в обычной солдатской пилотке. Отправляя фотографии своей матери, я писал ей, что «чувствую себя хорошо», что «поправился и загорел», что «привык вставать в шесть утра» и что, наконец, «получил первое денежное довольствие – сорок рублей, на которые купил себе на базаре литр молока за двадцать пять рублей и два яйца по десять рублей за штуку».

Получив письмо и фотографии, моя мать и бабушка не на шутку переполошились. Им почему-то показалось, что я нахожусь «в ужаснейших условиях». И вот из письма в письмо мать моя стала докучать мне одним и тем же: «Когда же наконец ты соберешься и потребуешь пересмотра на медицинской комиссии?» В свое время я имел «белый билет», то есть освобождение от военной службы по статье 19-й Расписания болезней.

«Я думаю, – писал мне мой дядя Николай, – что по своей болезни ты все-таки будешь непременно непригоден. Иди уж по крайности нестроевой. Да ведь потом тебя, как студента, должны считать в отсрочке».

«Непонятливые люди, – рассуждал я сам с собою, – какая тут может быть „отсрочка как студенту“, когда вся наша рота состоит из бывших студентов и аспирантов!»

Очевидно, мои родственники, во главе с моей матерью, не желали понять самой простой вещи, а именно: в сложившейся военной ситуации человек с пониженной свертываемостью крови, вроде меня, не может рассчитывать на какое-либо послабление или снисхождение. Попав в военное училище, я понял, что раз я должен стать командиром, то для моей же пользы я должен стать хорошим, качественным командиром – физически и нравственно закаленным, усвоившим нелегкий опыт военной службы. Заниматься я стал прилежно, и благодарность перед строем бывала для меня приятным свидетельством моих успехов. В детстве я был слабым ребенком, юношей не отличался физической силой и крепостью – тут же приходилось наверстывать многое.

Трудно, невыносимо трудно было участие в военизированном кроссе, когда взвод в полном составе, с боевой выкладкой, бежит на тысячу метров. Отставать нельзя – иначе нарушится строй взвода. Максим Пеконкин, непосредственно за которым я следовал, ломится вперед, словно танк.

Даже теперь с содроганием вспоминаются тренировки «гусиным шагом», выматывавшие, казалось, последние физические силы. Трудно было, очень трудно.

От тяжелых и неуклюжих сапог болели ноги. Брезентовые лямки и ремни амуниции резали плечи, скатка теснила грудь, словно хомут. И если бы нас спросили: «Нравится вам все это?» – каждый бы ответил: «Нет! Конечно же нет!» Однако если и не все, то большинство понимало, что на фронте будет еще труднее и что нужно готовить себя таким образом, чтобы выдержать еще большие нагрузки и тяжести.

Что же так встревожило мою мать?! Очевидно, ее материнский эгоизм подсознательно стремился как бы «ослабить» все эти нагрузки и трудности и испытания. И она не понимала, что именно такая ее попытка может кончиться для меня плачевно. Ведь на перекомиссии, которой она так добивалась, меня могут не демобилизовать, не отправить к ней, а, наоборот, отчислят из училища и неподготовленного, необученного отправят на фронт с маршевой ротой рядовым. Судьба Абрама Маленького весьма и весьма поучительна. Но она – эта судьба – мою мать совершенно не интересовала. Что касается меня самого, то я понял тогда: всеми силами должен я сопротивляться требованиям своей матери, не расслабляться, не жалеть себя эгоистической жалостью, не считать физическую и нравственную нагрузку «непосильным бременем», от которого следует избавляться любым способом. Так я и поступил, и был рад и доволен. Единственным огорчением для меня стало стекло в моем «Мозэре», которое постоянно билось. Часы были карманные, и, где бы я их ни носил: в нагрудном кармане гимнастерки, в брючном, без предохранительной сетки, при постоянном ползании по земле и окопам, при непрерывных бросках и падениях, не разбить стекла было просто невозможно. Взводный, снисходительно улыбаясь, отпускал меня в город, чтобы вставить очередное стекло.

21 июня. Взвод впервые заступает в караул. Мы усиленно долбим «Устав гарнизонной службы», чистим обмундирование и подшиваем свежие подворотнички. До блеска драим сапоги и оружие.

Перед штабом училища на торжественном разводе с оркестром дежурного по гарнизону приветствуют «Встречным маршем». Дежурный здоровается, обходит фронт развода, поверяет знания обязанностей караульных начальников и часовых. Наконец, звучит его команда: «Развод, смир-р-на! К торжественному маршу!» Отбивая шаг под музыку, с винтовками у плеча, проходит развод перед дежурным, восседавшим на гнедом коне.

Пост мой у ворот центральной проходной, в третью смену. Город спит. В Устюге период белых ночей, и вокруг словно искрящийся пасмурный день. Я стою у полосатой будки, в руках винтовка с примкнутым штыком, в подсумке патроны. Тишина. Лишь где-то далеко-далеко цокают подковы по булыжной мостовой – это дежурный по гарнизону поверяет посты.

С одной стороны, мы действительно охраняем покой спящих в казарме людей, а с другой – это учебно-практические занятия и дежурный по гарнизону – не только поверяющий командир, но и педагог.

Казалось, что может нарушить покой и безмятежный сон людей, живущих в этом далеком от линии фронта, тыловом и старинном городе?!

А между тем шепотом говорили о событиях недавнего прошлого, разыгравшихся здесь; когда курсанты-пуховичане вели уличный бой, стреляли, были раненые и убитые. Лишь некоторое время спустя нам стало известно, что в конце сорок первого года партия зэков, размещенная в одной из церквей у базара, превращенной в тюрьму, взбунтовалась, захватила склад учебного оружия без патронов с намерением вырваться на свободу. Гарнизонная рота, поднятая по тревоге, перегородила улицу. Зэки со штыками наперевес ринулись на курсантов. Командир роты Ламбоцкий скомандовал: «Огонь!» Первых скосило. Затем второй, третий залпы. Зэки ринулись назад – там их встретили и разоружили.

Не легко нам было в девятнадцать лет осмысливать сложные и запутанные проблемы и ситуации. Муторно порой становилось на душе в часы ночного одиночества на посту. Но розовел край неба. Даль начинала светиться серо-жемчужной мерцающей прозрачностью. И все уже представлялось не таким удручающим и безысходным.

22 июня. Годовщина начала Великой Отечественной войны. В подразделениях готовятся к строевому смотру с песней. Пели курсанты песни советских композиторов, пели народные и старинные солдатские песни. Наш пятый артиллерийско-минометный дивизион готовил «Священную войну» Александрова. Запевали на два голоса Чеканов и Папенков. Пели курсанты красиво, самозабвенно, могуче. Сам ритм этой песни строевой, вызывающий ощущение внутренней бодрости и сплоченности строя. Пели и только что появившуюся песню «До свиданья, города и хаты». После вечерней самоподготовки роты выходили на плац, строились в каре и после команды «На месте шагамарш» начинали песню. Пели старинную «Взвейтесь, соколы, орлами», «Катюшу» и, наконец, «Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится», сочиненную на мотив старинной драгунской песни «Георгиевский штандарт».

Каждый вечер, перед сном, роты в полном составе, с командирами во главе, отправлялись маршировать по улицам Устюга под звуки и ритм избранной ими песни. Весело и легко проходили роты, чеканя шаг, по булыжной мостовой. Солнце село, и над нами прозрачный полог белой ночи. Легко и свободно становится на душе – все мы бывали рады этим вечерним прогулкам, таким взбадривающим и откровенно радостным.

24 июня. Мы возвращаемся со стрельбища измученные жарой. Солнце висит над горизонтом гигантским расплавленным шаром. Воздух раскален и насыщен тяжкой духотой. Хочется вздохнуть полной грудью, а в глотку вползает нечто обжигающее, скрипящее сухой пылью на зубах. Мы не ели с утра, страшно устали и шли уже не строем, а толпой. Ответственный за роту лейтенант Перский решил, очевидно, подтянуть дисциплину и приказал старшине Бычкову «организовать песню».

– Падра-а-вняйсь! – рявкнул на ходу старшина. – Левый, левый! Тверже шаг! Запевай!

Но курсанты шли молча. Старшина выжидает. Молчание продолжается.

– Противник с фронта! – командует старшина. – Ложись! По-пластунски впере-е-ед!

Обливаясь потом, мы ползем по пыльной дороге, по обочине. На зубах песок, физиономии стали серыми и грязными от пота и пыли.

– Встать! – командует старшина, и в глазах его искрится злоба. – Шагамарш! За-а-певай!

Рота молчит. Песня в армии – дело добровольное, и если рядовые не желают петь – заставлять их никто не имеет права. Мы петь не желали: строй шел молча. Но мы знали также и то, что старшина от своего не отступит.

– Газы! – раздается его новая команда.

Быстро расстегиваем брезентовые сумки противогазов, надеваем резиновые маски на грязные и потные лица. Смотровые стекла моментально запотевают, и все вокруг заволакивается как бы мутной пеленой.

– Бегом маар-р-рш! – остервенело ревет старшина.

Рота бежит с винтовками у бедра. Лица взмокли под резиновыми масками противогаза и горят, разъедаемые пылью и грязью. Гимнастерки хоть выжимай. А вдали уже поблескивают позолотой маковки многочисленных церквей Великого Устюга.

– Стой! – орет старшина Бычков. – Отбой!

Противогазные маски сорваны. Физиономии красные, возбужденные.

Все прерывисто и тяжело дышат.

– Петь будем? – спрашивает старшина, сбычив голову и оперев кисти рук о бедра.

– Будем! – вдруг раздается из середины строя веселый голос Мкартанянца. Никто – ни лейтенант Перский, ни старшина Бычков, ни даже сами курсанты – не предполагали, какую коварную месть изобрел этот отчаянный армянин.

– Смирно! – с сознанием одержанной победы и вполне миролюбиво командует старшина Бычков. – С песней шагом марш!

Тут-то и запел Мкартанянц своим звонким голосом озорную песню юнкеров-артиллеристов стародавних прадедовских времен:

Как-то раз на полигоне
Позднею порой
На посту в дивизионе
Перднул часовой.

И сотня курсантских глоток вмиг подхватила припев:

Раз… два…
Горе не беда.
Канареечка жалобно поет.

А звонкий голос запевалы выводил уже следующие куплеты:

Факт, конечно, маловажный
Порча атмосфер.
Но услышал звук протяжный
Взводный офицер.

Раз… два…
Горе не беда.
Канареечка жалобно поет.

Разъяренный, оскорбленный,
Взбешенный и злой,
Он на пост дивизионный

Прилетел стрелой.

Как ты смел, исчадье ада,
Мерзкий идиот!
На посту пускать из зада
Сероводород?

Долго в поле раздавался
Голос громовой.
И со страха обосрался
Бедный часовой.

Сколько ни пытался старшина Бычков прекратить песню, его никто не слушал. Обретя второе дыхание, отбивая шаг и горланя припев: «Раз… два… горе не беда», рота шла бодро в идеальном строю по направлению к городу. Вот и первые дома Устюга, строй вступает в улицу, а песня не умолкает.

Рассердился сам полковник
И, со стула встав,
Грозно молвил: «Гарнизонный
Дайте мне устав».

Прохожие от удивления разевали рты, подобного они, естественно, никогда не слыхивали. Лейтенант Перский исчез тотчас, как только рота вступила в черту города. С людьми остался старшина Бычков. А Мкартанянц между тем не унимался:

Часового мы не вправе
Даже обвинять:
Запрещенья нет в уставе
На посту вонять.

Радости нашей нет предела, и, отбивая шаг по мостовой, мы горланим во всю мощь своих глоток:

Раз… два…
Горе не беда.
Канареечка жалобно поет.

И с тех пор в часы ночные
Слышно в трех верстах,
Как пердят все часовые
На своих постах.

И уже казалось, что все обошлось благополучно, как вдруг, подобно бронзовому изваянию конного монумента, вырастает перед нами посреди улицы фигура дежурного по гарнизону.

– Доложить! – следует приказ.

Бычков докладывает.

– В комендатуру прямо! – звучит команда дежурного по гарнизону. – Рота, шагом ма-а-арш!

С гордо поднятой головой, торжественным шагом прошли мы мимо «конного монумента» дежурного по гарнизону. Два часа принудительной строевой подготовки под барабан на комендантском плацу – такова была наша плата за удовольствие рассчитаться за все со старшиной Бычковым. Домой, в казарму, возвращались мы усталые и возбужденные. В батальоне уже знали о случившемся, но никто даже и виду не подал, а все только втихомолку пересмеивались.

26 июня. Рота идет на стрельбище. Подъем в четыре утра. Наш взвод назначен в оцепление. Нам искренне завидуют. Конечно, стрелять из боевой винтовки дело заманчивое, но еще заманчивее, разувшись, лежать одному в траве, греясь в лучах летнего солнца, лежать и мечтать о чем-то постороннем или же писать письма домой. Обязанности бойцов оцепления не сложные: наблюдать за флажками. Красный: «боевая опасность», белый: «отбой», да следить за тем, чтобы какой-нибудь ротозей не забрел случаем в зону огня. А поскольку такая возможность считалась минимальной, то и беспокоиться было нечего. Небо над головою ясное, знойное и, как выражаются, резко-континентальное. Жара поэтому здесь палящая и жестокая.

На место прибыли мы еще по холодку, задолго до начала стрельб. Взводный развел цепь и ушел. Теперь можно было снимать сапоги, проветрить носки, портянки и гимнастерку. Начальству тут делать нечего. Одолевают комары и мухи. Прошло более часа, пока трубач не возвестил начало стрельб. На вышке в полутора километрах взвился красный флажок. Затрещали, защелкали выстрелы, будто удар хлыста воспринимался полет пули. Иногда вдруг где-то совсем рядом раздается резкое фр-р-р. Это рикошетом пошла пуля, как принято говорить, «за молоком».

Я сидел под кустом и занимался письмами. Написал на нескольких страницах подробное письмо матери. Короткие открытки Юдиным, дяде Николаю, Нике, Генке и Шурику. Посмотрел, а передо мной – зайчишка сидит и с удивлением на меня смотрит. Я растерялся, сделал неосторожное движение – косой испугался и убежал. Смешно.

Я все писал и писал. В который раз повторял я своей матери, что не ищу встреч с медицинской комиссией, что я здоров и не считаю себя инвалидом, что я не намерен покидать училище прежде, чем стану лейтенантом. Я убеждал своих родственников в письмах, которые, несомненно, читала военная цензура, не называть меня «больным». В мои намерения не входило быть отчисленным в маршевую роту в качестве «больного», «слабосильного» или «профессионально непригодного».

Да, я оказался в армии не по своей воле. Но раз уж так получилось, то, прежде всего, нужно позаботиться о том, чтобы приобрести хорошую военную специальность, стать закаленным боевым командиром, способным выносить тяжелую службу в условиях фронта. Я все-таки понимал, что не только выжить, но и удачно воевать можно, лишь пройдя предварительно хорошую школу военной тренировки. Этого-то моя мать и не понимала.

Окончив писать, я задумался о том, какие же выдающиеся люди собрались в нашей восемнадцатой. Вон в ста метрах от меня Олег Радченко – удивительный человек. Он аспирант биофака МГУ. Но он не только биолог. Кажется, нет такой области знаний, к которой он не проявлял бы интереса. Ему доступны физика и химия, математика, история и литература. Он интересуется музыкой и живописью. Восхищается импрессионистами и великолепно разбирается в иконописи. Он носил с собой повсюду небольшую самодельную тетрадку – своеобразный дневник. Твердыми и уверенными штрихами рисовал он в ней архитектуру устюжских храмов, наличники домов, перспективу городских улиц и все это снабжал аннотациями, описывая характер городского базара или устройство дебаркадера. Чертежи абсид и закомар соседствовали с чертежами полковой пушки и миномета. Меня, студента художественного училища, Олег просвещал в области искусства, философии и богословия. И я чувствовал себя перед ним

невежественным профаном, простаком со слабо развитым интеллектом и вялыми чувствами. И не кто иной, как Олег Радченко заставил меня, в буквальном смысле, взяться за ум-разум и со всей серьезностью отнестись к своему образованию. В Олеге я приобрел человека энциклопедически образованного, спокойного, внутренне собранного, выдержанного и волевого. Он с одинаковым увлечением рассказывал мне о строении кишечно-полостных организмов, об особенностях строгановской школы иконописи, посвящал меня в сокровенные тайны философии Канта и святых отцов-каппадокийцев, о которых я тогда не имел ни малейшего представления.

Следующим по ранжиру в отделении стоял Костя Бочаров. Он был правнуком великого нашего пейзажиста Саврасова. Мой сверстник, худощавый, стройный, заводной и азартный спорщик, легко возбудимый и самоуверенно-нескромный. За кустами мне его не видно.

А вот, по другую сторону от меня, Вася Шишков – я его вижу сквозь ветки деревьев. Он ровесник Олега, в армию попал с последнего курса Академии художеств. Вася сидит босой, в нижней рубахе и что-то компонует на клочке ватмана. По природе он не разговорчив, во время бурных дискуссий может вставить слово-другое и не более. Но само его присутствие, его доброта и мягкая улыбка располагают к непринужденности и откровенности во взаимоотношениях. Физически Вася Шишков неимоверно силен и вынослив, но никому и никогда, ни при каких обстоятельствах не сказал он грубого слова; ни с кем не спорил и ничем не возмущался. Наш Пеконкин обычно смотрел на него с каким-то особенным и искренним недоумением, и на суровом лице сержанта застывало выражение «Вот уж никак не думал, что есть такие-то вот люди».

Во взводе у нас, в перерывах между занятиями, то и дело возникали своего рода дискуссии. Нас сорок человек. И достаточно кому-то только начать, как уже закипали страсти. Воспитанный в среде столичной творческой элиты, я считал себя вполне «культурным человеком». И вдруг, попав в среду курсантов военного училища, я убеждаюсь в том, что вся моя «культурность» – это не что иное, как верхушки куцых, обрывочных знаний, нахватанных без системы и наудачу.

Солнце клонилось к западу, его косые лучи снопами врывались сквозь плотную стену высоких, черных елей. Пора обуваться и быть готовым к смене. На обратном пути со стрельбища мы с Олегом несем мишени и идем вне строя. У какой-то бабки за кусок мыла выменяли шесть куриных яиц.

По возвращении в столовой нас ждала густая жирная лапша с мясом, удвоенные порции за обед и ужин, половинка мясистого «залома» и крепкий, сладкий чай с белым хлебом.

Дни проносились с молниеносной быстротой. Давно ли выехали мы из Москвы, а вот уже скоро месяц, как мы в Устюге. За это время ритм жизни военного училища так успел спрессовать, сжать нашу внутреннюю энергию, что мы сами себя стали ощущать «на боевом взводе» – нажми на спуск, и произойдет взрыв. А из равновесия могла вывести малейшая случайность.

Как хорошо, думал я про себя, что не связан я был более ни с какой клубной самодеятельностью и мог отвечать только лишь за самого себя.

28 июня. Я в наряде – дневальный у тумбочки. Дивизион вышел на парад. В городе на центральной площади идет смотр строевой подготовки и строевой песни. Участвуют три стрелковых батальона, пулеметный батальон и артиллерийско-минометный дивизион… В казарму изредка долетает неясный шум толпы, отдельные выкрики команд и могучий рев многоголосой массы людей. В казарме тишина. Но вот открываются ворота, и строй ликующих курсантов пятого артиллерийско-минометного возвращается в казармы – пятый артиллерийско-минометный стал победителем смотра!

29 июня. Ожидается инспекторская проверка училища каким-то генералом. У ротного начальства свои заботы: дисциплину закручивают на «все гайки», полы в казарме драят до полного блеска. Чтобы койки выглядели ровными, под одеяла запихиваются специально заготовленные рейки. Сапоги чистят до одури. Подворотнички, портянки, носовые платки стирают и меняют по несколько раз в день. Но самое страшное, чем могла угрожать нам генеральская инспекция, – это угроза машинки в руках старшины, уже занесенная над нашими головами. За месяц наши волосы успели отрасти и превратиться в подобие ежика. Мы дорожили этим ежиком, казалось, более самой жизни. Для нас – москвичей – стрижка наголо под машинку отождествлялась с ущемлением нашего человеческого достоинства.

– Мы не арестанты! – бунтовал Костя Бочаров.

На протяжении всего курса обучения мы вели затяжную и порой небезрезультативную борьбу с батальонным и ротным начальством за минимальный клочок волос на макушке под пилоткой. Краснобаев свирепел при виде непокорного ежика – и машинка в руках Бычкова становились реальной угрозой.

– Нэ дам обижать мальчишек, – кричал он на капитана Краснобаева, – им самим скоро командовать придется!.. Я большэ тэбя понимаю – у тэбя одна палка, а у мэня чэтырэ…

30 июня. По батальону ползут слухи о том, кем и когда нас должны выпустить и куда направить. В Пуховическом прошла аттестация – их обучали пять месяцев. На улицах появились превосходно обмундированные, новопроизведенные лейтенанты. С двумя рубиновыми кубиками на петлицах, в хромовых сапогах, в кожаной скрипящей портупее, они вызывали наше восхищение. Только еще вчера на них было такое же хлопчатобумажное рванье, как и на нас, да еще вместо сапог – обмотки.

Занятия между тем идут своим чередом. Мы таскаем на себе, как это положено издавна, по шестьдесят фунтов выкладки на расстояние от пяти до восьми километров. В лесу и на полянах, где обычно проходят наши занятия, поспели ягоды – их тьма, и мы собираем в изобилии землянику, чернику, дикую малину, гонобобель. Местным жителям ходить по ягоды некогда, и все остается нам.

1 июля. С сегодняшнего дня начинается стажировка командования огневым взводом. Должности командира огневого взвода и командиров орудий будем исполнять по очереди. Остальные должны трудиться номерными при орудии. 82-миллиметровый миномет весит до шестидесяти килограммов, разбирается на три части и переносится вручную тремя номерами. 120-миллиметровый миномет, 45-миллиметровая противотанковая и 76-миллиметровая полковая пушки требуют конной тяги.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.